ЦЕНА
ДВА ДОЛЛАРА

Р. БЕРЕЗОВ • РУССКОЕ СЕРДЦЕ

РОДИОН БЕРЕЗОВ

РУССКОЕ СЕРДЦЕ

РОДИОН БЕРЕЗОВ

РУССКОЕ СЕРДЦЕ

THE RUSSIAN HEART

(RUSSKOE SERDTCE)

BY

RODION M. BEREZOV

Обложка — Игоря Калугина

PRINTED IN U. S. A.

ECONOMY TYPESETTING SERVICE
244 HARLEM PLACE
LOS ANGELES 12, CALIFORNIA

Доктору Эмилии Францевне Вельц —

посвящаю эту книгу

КНИГИ РОДИОНА БЕРЕЗОВА,

изданные в Америке:

НАРОДНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ. — Автобиографический рассказ и 555 частушек. 1950 г. — Распродана.

ДОЖДЬ И СЛЕЗЫ. — Стихи. 1951 г. — Распродана.

ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ.—Рассказы. 1952 г.—Распродана.

РАДОСТЬ. — Стихи. 1953 г..

РУССКОЕ СЕРДЦЕ. — Рассказы. 1954 г.

Автору можно писать по адресу:

RODION M. BERESOV

1256 Lyman Place - Hollywood 29, California

РАДОСТЬ

Хотелось бы написать о радости спокойно, без восклицаний, но это очень трудно.

Множество раз я был на волосок от смерти. Но по воле Творца этот волосок превращался в стальной канат. И вот, вместо того, чтобы лежать в могиле, я хожу по земным дорогам, встречаюсь со множеством людей, выслушиваю одобрения и порицания, читаю стихи и рассказы, пою гимны, работаю и молюсь.

Общение с людьми — одна из радостей жизни. Многим ли знакомо счастье — владеть большой аудиторией? Тысячи людей, затаив дыхание, слушают тебя. Ты говоришь шопотом, но все тебя слышат. На одном из окон, звеня о стекло, бьется оса. Это аккомпанимент твоему словесному потоку.

Трудно обойтись без восклицаний, когда говоришь о счастьи и радости. Хотелось бы пропеть гимн слову, которое заставляет плакать и смеяться, отдавать богатство и сердце, идти безоружным на врага.

Истинных страдальцев успокаивать не трудно. Но дай мне, Господи, силу слова — радовать безмерно страдающих от ничтожных пустяков, дай мне умение ободрять

мятущихся, утративших спокойствие духа. Они сами не знают, что им нужно. Переезжают с места на место; глядя из окна автобуса или поезда, что-то записывают, думая удивить мир своими творениями. Но когда душа не радуется, когда глаза холодно созерцают окружающее, из-под пера выходят скучные фразы, не способные зажечь ни одну душу, даже легко воспламеняющуюся.

Чтобы радовать, нужно радоваться самому. Чтобы быть любимым, нужно самому любить. Злой не может научить добру. Светляки не могут соперничать со звездами.

Холодные, брюзжащие, высокомерные души — бремя жизни, бремя нашей планеты. Они холодят, морозят, гасят, убивают, пугают, отталкивают, раздражают, отнимают счастье у себя и других. Веревочка, связывающая этот букет ужасов, называется гордостью.

Трудно обойтись без восклицаний. Хочется воскликнуть, что гордая душа — черный занавес, закрывающий все радости жизни!

* * *

Моя комната залита светом. Из окна вижу калифорнийский залив, оба знаменитых моста, соединяющих Сан Франциско с Окландом и Берклеем. Январь, а в палисаднике напротив распустилась березка. Яркий газон, кусты с красными ягодками, сиреневые ирисы, пунцовые герани, белые левкои, всех расцветок розы. Утром небо кое-где закрывали случайные облака. В полдень небо чистое, бледно-голубое. Такого цвета был батист в России. Из такого батиста у меня была рубашка в годы юности, а у сестры платье. Смотрю на небо и вспоминаю молодость, родину, деревенские праздничные наряды.

Вода залива темная, серовато-синяя. Такого цвета был сарафан у матери. Нехватает только розовых цветочков по этому фону. Сарафан был вечно новым. От него всегда пахло магазином. Он приятно шуршал своим фабричным крахмалом. Его складки никогда не сминались.

— Мама, кому достанется сарафан, когда ты умрешь? — спрашивал я, зная, что это будет не скоро.

— Кто упокоит мою старость, тот возьмет себе и сарафан.

У меня было две сестры. Каждая думала: «Живи, мама, сто лет, а когда умрешь, положим тебя в гроб в этом сарафане, чтобы не было злобы из-за него после твоей смерти».

Мать дожила до 80. Сарафан в гробу казался только что сшитым, хотя в день похорон ему было 50 лет.

Вода залива напомнила мне наряд матери, напомнила ее — ласковую, кроткую, незлобивую. Она преклонялась пред красотою мира. Ее умиляла каждая былинка, каждая букашка, каждая росинка на цветах.

— Все от Бога, — говорила она, показывая на звезды, на вечернюю зарю, на падающие осенние листья, на бегущие струи дождя, на поющего скворца весною.

Мать научила своего младшего сына — находить радость во всем. И отец мой любил красоту и видел ее всюду. Господи! Благодарю Тебя за моих необыкновенных родителей. Сделай меня таким, какими были они. Ты ведешь меня, Господи, по таким дорогам и тропинками жизни, на которых я встречаюсь с удивительными по доброте людьми.

Радостью я начинаю каждый новый день. Радость убаюкивает меня после дневного труда.

Мне ничего не нужно, потому что я имею все. Все то, что я имею, можно назвать одним коротким словом: «Радость». Ее дал мне Бог. Мне бы хотелось поделиться ею со всеми бедными, страждущими, плачущими, не знающими, что высшее счастье лишь в Боге, в неразрывной дружбе с Ним.

Помоги мне, Господи, излить радость на бумагу, а потом превратить эту бумагу в книгу, чтобы она полетела по всему миру и влила живительные соки в каждое сердце.

12 января, 1954 г.
Берклей, Калифорния.

БОЖЬЯ КРАСОТА

Начало сентября. Дни солнечные, тихие, с прохладой в тени, в луговых лощинах, на лесных дорогах и просеках. Ветра как будто нет, но паутина длинными волокнами медленно плывет над избами, серебрясь в прозрачном, свежем воздухе.

Ласточек уже не видно. Скоро улетят скворцы. Шумными стаями, со свистом, они проносятся над пустынными скошенными лугами, особенно зелеными в эту пору. При внезапных, шелестящих поворотах — вверх, вниз, в стороны — стая то густо чернеет, то становится прозрачной. Днем по одному, по два, навещают родные, опустевшие скворешники. Усевшись на сухую ветку, поют с весенним задором, но все знают: это прощание.

Скоро дожди, туманы, холода. Но сейчас хорошо, хотя почему-то грустновато.

* * *

В субботу утром едем с отцом в лес, где останемся на ночь. У нас четыре лошади: две карих, гнедая и рыжая. У рыжей маленький жеребенок, не похожий на мать: желтовато-глинистый, пятнистый, с тонкими ногами, поджарый, смешной. Зовут «Буланчиком».

— В соседского жеребца, — говорят про него в семье.

Вместе с отцом сидим на гнедом мерине. Я люблю эту лошадь: красивая, с белым пятном на лбу, смирная.

В мешке вместе с хлебом и арбузами лежат четыре медных ботола, купленных на ярмарке. Каждый издает свой, особенный звук — приятный, глуховатый, куда-то зовущий, напоминающий о чем-то родном. Когда приедем в лес, повесим на шею каждой лошади: тогда не пропадет, по звуку всегда можно найти, куда бы ни забрела.

У нас свое место для ночного: на берегу Самарки. Отец сделал просторный шалаш, издали похожий на зеленый холм. Степные шалаши — черно-желтые, с земляной и соломенной кровлей, а этот завален лопухами, травой, чаканом, ветками, цветами. Я могу стоять в середине шалаша с поднятыми руками, но отец гнется в «три погибели». Вместо постели сено. Мы жнем серпами траву в низинах и впадинах: мелкую осоку, розовый плакун, белые душистые цветы, похожие на весеннюю кашку, только очень крупные, с сиреневым отливом. Все сжатое стаскиваем к шалашу. Пронизанная осенним недельным светом и ночной прохладой трава превращается в сено, не такое пряное, как летнее, но еще скорее навевающее дремоту.

* * *

Сначала едем лугами. Там и сям бродят телята, лошади. Справа виднеется извилистая лента Гранки. Это приток Самарки. Крутые обрывистые берега чередуются с ярко-желтыми отмелями. На ближайшей — опрокинутая лодка, с черным свеже-засмоленным днищем. Запах смолы, обдавая нас, напоминает рыбачьи снасти, лесной костер и котелок с бурлящей в нем ухою.

Берег на той стороне снизу опушен густым красно-

талом. На каждом прутике — пепельный налет. Когда его сотрешь рукавом или подолом рубашки, прутик блестит, как лакированный.

Кусты краснотала густо переплетены ежевикой. Ее листья уже начинают окрашиваться в осенние цвета. Ягод в эту пору мало. Уцелевшие кисти — синевато-сизые, почти серые, от тяжести опускаются до самой земли. Каждая ягодка полна сладкого сока. Срывать их нужно осторожно, чтобы не падали кляксами на берег.

Выше тальника тронутые осенью кусты крушины и черемухи. Среди них бересклет, с ягодами, похожими на серьги: на длинном черешке оранжевые подвески, с черными глазками. Мои сверстницы девченки привязывают их ниточками к ушам и тогда нарочно ходят без платка, чтоб увидели старшие и с притворным удивлением спросили:

— Где куплено такое диво?

За кустарником высятся толстые, стройные осокори, серебристые тополи и зеленые до самой зимы ветлы.

Едем вдоль берега. Незнакомый старик с желтоватой седой бородою удит посреди реки, прикрепив лодку к оструганному белому колышку. Вода прозрачная. Видны стаи рыб с темно-зелеными спинками. Клев, как видно, плохой. Старик кажется спящим. Его круглая, коричневая шапка еле держится на затылке. Кусты, деревья, вода — все молчит.

— Лес задумался, — говорит отец.

— Почему? —удивляюсь я.

— Осенью всегда так: всякая тварь, тонкая былинка и малый куст славят Бога за весеннюю и летнюю вольготность и просят милостей на зиму.

— Как они это делают?

— По своему.

Мне это не совсем понятно, но может-быть и лучше: когда все понимаешь, неинтересно жить даже в семилетнем возрасте, но при ежедневных соприкосновениях с таинственностью, непостижимостью, юную душу охватывает трепет покорности и преклонения перед Высшей Силой.

Луга остались позади. В'езжаем в лес. Тишина. Бесшумно трепещут красные листочки осины.

— Видишь? — спрашивает отец.

— Да . . . без ветра шевелятся.

— А на других деревьях — нет. Знаешь почему?

Молчу: не знаю.

— Иуда Искариот на ней удавился. Сначала был, как человек: ходил с Христом по городам и селам, видел, что делал Спаситель для людей . . .

— А что Он делал?

— Что может делать Господь? Добро, конечно: исцелял хромых, слепых, глухих, воскрешал мертвых, останавливал ветры, из пяти маленьких колобков делал сотни пудов хлеба, чтоб накормить тысячи голодных . . . Как думаешь: простой человек может это сделать?

Отрицательно качаю головой.

— И вот такого-то Благодетеля, Сына Божия, человек продал ненавистникам за месячное жалованье, какое получают наши учительши.

Оглядываюсь с недоумением на отца.

— За тридцать целковых. Но не пошла впрок предателю выручка: совесть стала донимать, а совесть — она страшнее змеи подколодной, от нее света не взвидишь. Бога за тридцатку продать — чуешь, какой это грех?

— Чую.

— И деньгам не рад: бросил их своим подстрекателям, а сам пошел и удавился на осине. Ну, вот с тех пор дереву и нету спокоя: трясется от стыда, что Христов предатель-убивец на ней болтался.

— На этой, какую проехали?

— Не на этой, конечно, а на той, какая в тех местах росла, но семечки-то с дерева по всему свету разлетелись, значит, теперь, где бы осина ни произрастала, с самой ранней весны до предзимья листочками трепыхается. Только и успокаивается зимою, когда голая стоит. Тогда всем деревам одинаковая участь: терпи, мерзни и жди весеннего пригрева.

Из-под куста на поляне выскочил заяц и ринулся в лесную чашу. Завиднелась наша стоянка: шалаш, возле него перекладина для котелка и липовые лыки, связанные в круги, похожие на колеса для детских тележек. Повеяло осенним сеном, рыбьей чешуей и знакомым запахом потухшего неделю тому назад костра.

От шалашей, возле которых курят цыгарки, всегда тянет табаком. Некурящий отец, когда к шалашу подходят курильщики, просит их дымить подальше, чтоб не портить воздуха и не поджечь сухой травы.

Спустившись с Гнедого, открываю плетеную дверку нашего лесного жилья. В нем все, как было: вентер для ловли рыбы, пучки лекарственных трав, цветов и корней, закопченый с наружной стороны котелок, деревянная миска и четыре старых, выщербленных ложки — две для нас, а две для случайных гостей, если пошлет Бог.

Видно, что на оставленной постели никто не спал: сено не примято. Не чую никаких посторонних запахов.

Отец надевает веревочные путы на передние ноги каж-

дой лошади, а на шеи вешает ботолы, подобранные так, что когда они звенят все вместе, получаются красивые созвучия. Я готов без конца слушать эту музыку в осенней тишине леса.

Мы захватили с собой два арбуза. Корка у них белая, с прожелтью. Идем с отцом к берегу и зарываем арбузы в песок: к вечеру они будут еще ядренее, сочнее.

Вернувшись к шалашу, отец отрезает от пшеничного мягкого каравая по большому ломтю. В лесу, на свежем воздухе, хлеб кажется необыкновенно душистым. Подзакусив, мы разуваемся и, захватив вентер, идем к ближайшему озерку, где водятся караси. Глубина озерка по пояс отцу. Я помогаю расправлять крылья плетеной сетки, натянутой на круглые обручи.

— Ну, дай Бог на хорошее варево, — говорит отец, выйдя из воды. Обувается. С самодельной корзиной из тальниковых прутьев отправляемся за грибами. Мелкий осокоревый лесок, вперемежку с небольшими лощинками, называется груздовником. Трава скошена. На зеленой росистой атаве там и сям круглые молодые грузди с крутыми завитками, с прозрачными каплями на нижней стороне, «со слезой», — как говорит отец. Грузди растут рядами или кругами. В некоторых лощинах не видно ни одного, но там и тут — бугорки с трещинами.

— Видишь? . . . Еще не проклюнулись: силенки по молодости не хватает.

У нас по складному ножу на веревочке. Лезвия из старой косы, ручки деревянные. Мы отрезаем кончики черешков и оставляем на прежних местах «для развода». Очищенные от земли грузди укладываем в корзине один к одному: и не раскрошатся, и приятно посмотреть, когда хорошо уложены.

Проходим мимо зарослей ежевики, находим нетронутые кусты черной смородины. Ягода, кислая летом, теперь стала сладкой, душистой, сочной.

Время бежит незаметно. По лесу, особенно в низинах, волнами разливается прохлада. Птиц почти не видно. Только изредка, тряся длинным хвостом, затрещит, застрекочет сорока. Или вдруг на вершине дерева старательно закаркает ворона. Что в этом карканье? Зовет ли кого? Тоскует ли, что так тихо стало в лесу? Или радуется, что теперь ей никто не мешает?

До темна нам нужно вынуть из воды вентер и, если поймалась рыба, почистить ее.

— Проголодался? — спрашивает отец.

— А ты?

— Быка бы жареного с'ел.

— А я — теленка.

Солнце уходит. Верхушки деревьев позолочены, а внизу — сумрак, свежесть, роса. Наша плетенка наполнена до краев.

— Не будем жадничать, — говорит отец.

Он несет корзину в левой руке, согнутой в локте.

— Давай понесем вместе, — предлагаю ему.

— Ну, что ж, давай.

Я стараюсь, чтоб на мою долю пришлось не меньше тяжести, чем на отцову половину.

— Неси исподволь, не перегибайся, а то мне и делать нечего.

Лошадей возле шалаша не видно. Перекличка медных ботолов доносится издалека. Идем вынимать из воды вентер.

— Ну, как по твоему — будет на варево? — спрашивает отец.

— По моему — на два.

— Если угадал, значит, счастливые мы с тобой.

Но я больше, чем угадал: карасей поймалось на четыре варева.

— Как ты узнал?

— Я помолился про себя: «Господи, нагони побольше рыбы для нас и для всей семьи».

Крупные золотые караси прыгают в вентере. Несем добычу к шалашу. Я бегу с котелком к Самарке. Вода в реке чистая, холодная. Отец чистит рыбу.

— Потерпим до ухи или закусим?

— Можно потерпеть, не умрем, — солидно, как взрослый, отвечаю я.

— Выкопай из песка арбузы, а то чересчур захолодают.

Каждое мое движение подсказано готовностью — сделать для отца как можно больше и скорее чего-то хорошего, что навек останется в его сердце. Мне кажется, что для меня нет ничего невыполнимого. Не чувствуя усталости, я не хожу, а как будто бы летаю.

Вот уже трещит сухой валежник в ямке под котелком. Дым не поднимается столбом вверх, а вытянулся длинной лентой над землею. Кипит варево, ныряют в кипятке караси. Глаза у них уже белые. Пахнет луком, укропом, лавровым листом.

Не успело спрятаться солнце, как с другой стороны взошла полная луна, сначала показавшаяся мне пожаром.

Уху едим из общей миски. Вот когда почувствовалось, как мы проголодались.

— А цари со своими детьми бывают в ночном? — спрашиваю я от избытка счастья.

— Ну, где ж им, — говорит отец тоном сочувствия,

каким говорят о несчастных, — разве будут они ютиться в шалаше, залезать босиком в озеро, собирать грузди, спать на сене, есть карасевую уху из деревянной миски? Это добро не для них. А вот признайся-ка на чистоту: согласился бы ты, если б тебе сказали: «Родька, переходи в царский дворец, в приемыши к царю, а царский наследник пускай воспитывается у дяди Михаила и ездит с ним в ночное» . . .

— Ни за что!

— Да ведь из царского-то приемыша ты бы, немного погодя, царем сделался, всей бы русской землей повелевал.

— Не согласен.

— Почему?

— Потому что цари не бывают в ночном и не едят карасевую уху . . . Какой же мне интерес от их царства?

— У них много кой-чего хорошего, кроме ухи.

— Все равно не согласен.

Сладкая рыбья мякоть хорошо отделяется от костей. Кажется, что упругие чистые рыбьи скелеты сделаны из тонкой белой проволоки. Выбрасываем их в воду: река неподалеку от шалаша. На заедку — арбуз. Отец разрезает его тихонько, чтоб не растрескался.

Луна поднялась высоко, стала золотисто-серебряной. Арбузные корки маленькими лодочками медленно уплывают вниз по течению. В разных местах слышны всплески.

— Щуки гоняются за мелкотой, — говорит отец, — нигде нет покоя малым от больших.

Наводим порядок вокруг шалаша. Таскаем охапки свежего сена для постели. Мы зароемся в него и не нужно будет никаких одеял.

На том месте, где пылал костер, еле проглядывает

краснота сквозь пепел. Огонь, угомонившись, засыпает, покрываясь одеялом золы.

Перед сном молимся. Стоим на коленях лицом к востоку. Молитвы читаем про себя. Я знаю «Пресвятую Троицу», «Святый Боже», «Богородицу», «Царю Небесный». Читаю и свою молитву: «Спасибо Отцу и Сыну и Святому Духу за грузди, за карасей, за арбузы, за хлеб, за шалаш. Дай, Господи, здоровья бате, маме и всем родным, а еще дай нам, Господи, тепла в шалаше и чтоб ночью никто не увел наших лошадей и чтоб они не застряли в болоте. Аминь.»

Отец укладывает меня.

— Сено не колется?

— Ничего.

— А если немножко и поколет, не беда: это не иголки и не шилья.

Сверх травы накидывает на меня старое рядно. Оно оставалось в шалаше все лето. Только перед самой зимою его увезут домой.

Внутри шалаша перезвон ботолов кажется приглушенным, убаюкивающим. Хочется о многом спросить отца, но все приготовленные вопросы замирают, как ботолы в лесу. Во сне вижу царских гонцов: нарядные, с перьями на шляпах, как на картине, они прискакали на трех белых конях к нашей деревенской избе. Не сходя с земли, стучат в покосившиеся окна рукоятками кнутов:

— Здесь живет мальчик Родька?

— Здесь, — отвечает перепуганная мать.

— Скорее причешите его кудри, оденьте, обуйте и давайте нам.

— Зачем?

— Мы должны доставить его в царский дворец.

— Для чего?

— Рассказывать царским детям о деревенской жизни, о шалашах, о сладких арбузах, карасевой ухе, о ботолах на лошадях в ночном. Собирайте скорее, ждать некогда, царские дети истосковались по деревенским рассказам. Где ваш мальчик?

— Спит он.

— Разбудите! Видите, — кони не стоят на месте.

Во сне меня будит мать: «Проснись, сынок, обязательно проснись. Ничего не поделаешь: царю перечить не будешь» . . .

Кто-то берет меня на руки. Сейчас меня отдадут царским гонцам и они помчат меня во дворец. Но когда открываются глаза, я вижу себя на руках отца. Он стоит у самой воды, прижав меня к груди. Пушистая борода щекочет мою шею. Сначала мне трудно понять, — явь это или сон? Отец поднимает кверху руку:

— Погляди-ка . . . Божья красота . . . Может никогда в жизни не доведется больше повидать такого . . .

Полная луна легко ныряет в прозрачных белых облаках, похожих на шерсть, когда она волнами струится из шерстобитной машины. Проснулся ночной ветерок. Тихо перешептываются деревья. Слышнее музыка ботолов. Их не четыре, а много-много. Весь лес звенит, длинькает. Другая луна бежит по дну реки. Как золотые капли, падают с деревьев листочки. Иногда листик капнет как раз на середину нижней луны, но она, как бы отряхнувшись, через секунду такая же чистая, круглая, сверкающая.

Я уже, слава Богу, не маленький: мог бы постоять на ногах, но отец попрежнему прижимает меня к груди. На его руках гораздо ближе к небу — к этой золотой луне, звездам, белым кружевным облакам. Он хочет, чтобы

я на всю жизнь запомнил эту, непостижимую умом, «Божью красоту».

Чувствую влагу на бороде отца. Догадываюсь: неграмотный деревенский мужик плачет от благодарности Творцу за эту ночь . . .

Хорошо, что нас никто не видит из людей. Они бы не поняли ни отца, ни меня. А Бог понимает нас. И нам радостно с Ним.

Январь, 1954 г.

ЗАКОНЫ СЕРДЦА

Немцы отступали.

— Где жена и дети? Успели эвакуироваться в первые дни войны или пережили оккупацию со всеми ее ужасами? — думал Николай Кораблев. — Повидаться бы со своими, пробыть вместе хоть полчаса, а потом снова гнать неприятеля — до Берлина и дальше . . . до полного уничтожения.

Как лейтенант запаса, Николай Кораблев был мобилизован в первый день войны. Вечером на станции провожали жена и дети. Последний взлет белого платочка, машущие ручонки малыша на руках матери, заплаканное лицо старшего . . . И с тех пор жизнь разделена на два не сообщающихся мира: ни одной открытки от него, ни коротенькой весточки от них. Был человек, — и нет. Была семья — и остались только воспоминания.

Малыш при расставании умел говорить два слова: «Мама» и «Папа». Старший учился уже во втором классе. Прошло два года. Теперь, конечно, выросли, поумнели, погрустнели.

Жди меня — и я вернусь,
Только очень жди.

Кто не знал этого стихотворения наизусть среди бойцов и командиров?

Передовая часть приближалась к родному городу. Отступая, немцы сдерживали натиск атакующих, отдаляя желанные минуты свидания Николая Кораблева с семьей.

О, этот трепет всеоб'емлющего нетерпения! Как будто горит дом, а в доме семья, и нет никого, кто бы вывел ее из пламени. Это сделает только он, но его не пускают.

— Потерпите еще день . . . еще час, — умоляет он всем напряжением любви.

Город занят. Но что это? Где улицы, скверы, красивые здания? Всюду развалины, обломки, угли, зола . . . А среди всего этого — бункера, окопы, блиндажи.

Николай бежит на свою улицу — «Имени Тимирязева», но улицы нет. Не уцелел ни один дом. Напротив была водопроводная колонка. Вот она. За домом был садик. От него остались обгорелые кустики.

Николай бродит по двору, среди обломков кирпичей. Найти бы хоть что-нибудь, напоминающее о своих . . . Вот корешок какой-то книги. Наклоняется. Поднимает. Разглядывает. Боже мой: это уголок от альбома с семейными фотографиями . . . Значит, ничего не успели вынести из дому. Что стало с ними? Где они? Спаслись или погибли? У кого спросить? Как напасть на след?

Тяжелое, жгучее, мешающее дышать разрастается в груди — о т о м с т и т ь ! За все: за разорение, за гибель близких, за уничтожение родного гнезда, за горе и слезы! . . .

Каждая радио-передача вопит:

— Убей немца!

Плакаты, в тот же день развешанные на развалинах домов убеждают:

— Убей немца!

«Жди меня — и я вернусь» . . .

Но как могут ждать мертвые? . . .

— Мстить! Мстить без жалости! Без содрогания! Не может быть речи ни о какой человечности! Убью первого живого человека на немецкой земле, кто бы он ни был! Пусть девушка, пусть старуха, — все равно! Немцы убивали наших родных матерей и жен . . . Какое мы имеем право на милосердие?

Волна наступления, нарастая, катится на запад. Земля врага приближается. Скоро! Скоро!

Вся рота любит Николая Кораблева. Все знают о его решении — убить первую живую душу на немецкой земле.

— Товарищ командир, коль понадобится помощь, кликните меня.

— Спасибо, обойдусь без помощи!

Два года накаливалась местью душа. И вот наступил январь 1945 года. Отдан приказ:

— На Берлин!

Страшная техника, сокрушая все на своем пути, движется неумолимой лавиной. Все больнее заноза в душе Николая Кораблева:

— Убить на немецкой территории! Все убитые до сих пор в русских и польских пределах, не в счет!

Раннее утро. Какой-то хутор. Радио об'являет:

— Товарищи! Мы в пределах Германии!

Николай бежит: «Не будет пощады!» . . .

Но вместо хутора — пепел, развалины, все сметено артиллерийским огнем. Ни одной живой души. Какая досада! . . .

Но что это за вздохи и стоны под досками упавшего забора?

— А, вылезай, голубчик! . . .

Мальчик. Лет десяти — бледный, изможденный, перепачканный, испуганный, качающийся от голода, холода и ужаса.

Николай Кораблев лихорадочно выхватывает из кобуры револьвер, а мальчик протягивает тонкую дрожащую ручонку:

— Майн Герр . . . штикхен . . . брот . . . битте . . .

Опустилась рука с револьвером. Угас огонь, два года толкавший вперед. Вспомнился свой, старший. Ему теперь столько же. Может быть так же когда-то прятался под забором, так же умолял немецкого офицера о маленьком кусочке хлеба . . . Убил ли его за эту просьбу офицер?

— Как зовут?

Мальчику непонятен вопрос на чужом языке.

— Ну, Фриц, Петер, Пауль? . . .

Голодное существо догадывается: спрашивают имя.

— Иоганнес . . .

— Вон оно что . . . Иван, значит? . . . И у меня такой же . . . И звать Ванькой . . . Как же я тебя убью? . . . Повезло тебе, хлопец . . . Не подымается рука . . . Двухлетний накал — впустую . . . Ну, ничего, может быть это даже к лучшему . . . Есть хочешь? . . . Во тебе сухари, копченая колбаса, шоколад . . .

Подбежали красноармейцы.

— Товарищ командир! Это что же значит? Хотели убить, а вместо этого отдали весь неприкосновенный запас?

— Мало ли чего болтает язык? . . . У сердца свои законы и приказы . . . На сынишку похож . . . И зовут так же: Иваном.

— Гут морген, немецкий Ваня!

— Обманул тебя твой фюрер!

— Обещал весь мир, а дал погибель! — шумят красноармейцы, а сами закутывают мальчика в шинель, суют конфетки.

Грязное лицо малыша освещается подобием улыбки. В этом выражении надежда:

— Не убьют эти люди, о которых он слышал много страшного от родителей, учителей и священника.

1953 г.

КОЗЯВКА

В бытность мою сельским учителем я заходил во многие крестьянские избы. Но особенная дружба была у меня с Андреем Мироновичем Мошковым. У этого тщедушного, низкорослого мужика с веселыми глазами и редкой монгольской бороденкой были золотые руки: он клал печи, делал колеса и телеги, валял зимнюю обувь. Земледелец, садовник, маляр и жестянщик — он пользовался всеобщим уважением в селе.

Но, как это часто бывает, хозяйственному человеку попала, на редкость, не экономная жена. Не берегла она ни поддевок мужа, ни своих платьев и полушалок, не остерегалась с обувкой: шлепает по осенней грязи, где попало. Справят всем хорошую дорогую одежду, беречь бы ее, по праздникам носить, а жена расстелет на пол вместо дерюг, уложит спать самых несмышленых, а утром — все мокрое.

В доме Мошковых всегда было грязно и не прибрано. От угарного и других запахов у свежего человека, заглянувшего к ним, сразу начинала кружиться голова. Соседи брезгали не только кухней, но и горницей Мошковых, где некуда было поставить ногу: везде валялся хлам — старая обувь, рваная одежда, разбитая посуда.

Если нужно было договориться с мастером, ему стучали в окошко:

— Выдь на минутку!

Жену звали Мариной. Это имя стало нарицательным в селе: всякую бабу-неудаху, всякую девку-растрепу стали звать «Мариной».

Одного за другим, с перерывами меньше года, Марина родила девять человек. Всех мошковских отпрысков дразнили «цыганятами» не только потому, что все они были черномазыми в отца, но, главным образом, потому, что очень походили на цыганских детей: вечно грязные, неумытые, голопузые и босоногие, всегда с всклокоченными, непричесанными волосами.

Кое-кто пытался вразумить Андрея, чтобы он умыл и образил Марину, но добросердечный муж всегда заступался за жену.

— Некогда ей наводить красоту: у других ребятишек — раз, два и обчелся, а у нас целый взвод, да, глядишь, еще будет столько же.

В противуположность многим мужикам, Андрей никогда не ругал, не клял, не бил своих детей.

У меня учился третий его сын, Володька — большеголовый, смышленый мальчик. Иногда Андрей приходил в школу поговорить об успехах своего грамотея. И если я хвалил парнишку, сияющий от счастья отец начинал расписывать достоинства остальных своих детей.

— Мозговитые ребята, дай срок, в большие начальники выйдут.

Рожая десятого ребенка, Марина умерла. Это было в трудное послевоенное время. Все думали, что новорожденная крошка, которую назвали Александрой, отдаст Богу душу. Но она осталась жить.

За хозяйку в доме стала четырнадцатилетняя Анютка.

Ребенка кормили тем, что ела вся семья: черным хлебом и картошкой. Анютка делала большую жевку, выплевывала в реденькую тряпку и совала в рот сестренке.

Рядом жили богачи Пантюхины. У единственного женатого сына три года не было детей. Долгожданный первенец умер через месяц.

— Вот ты и пойми, — недоумевал народ, — где ждут детей, они не родятся, а если и появится один, то вянет, как цветок на морозе . . . А где словно из лукошка сыплются, никакая их болесть не берет, на одном черном хлебе к солнышку тянутся . . . И что ты будешь делать? . . . Дотягиваются . . .

Теперь в избе Мошковых было чище, светлее и угаром уже не пахло. Слабосильная шустрая Анютка хозяйничала на славу: мыла каждую субботу пол, купала и причесывала братишек и сестренок.

Новорожденная большую часть времени оставалась в люльке. На третьем месяце она уже сидела, подпираемая со всех сторон тряпьем. Во рту всегда торчала жевка.

Жалостливые соседи стали давать по кусочку сахарку — подслащивать черную кислятину. Девочка привыкла к сладкому и горько плакала, когда жевка была без сахара.

Однажды в воскресенье, после обедни, в доме Андрея собралось очень много мужиков и баб. Все пришли посочувствовать горю вдовца и поудивляться.

Маленькая сидела в люльке — черная, худая, бледная, большеглазая. Выражением лица она походила на взрослую: как будто все понимает, только сказать не может.

— Умница, — расхваливал крошку отец, — скажешь:

«Санечка, доченька моя, горькая сиротиночка», и тоненькие ручки протянет, а глазки грустные, грустные . . .

— Главная у тебя забота, Мироныч, чтобы эта козявка поскорее отправилась в рай . . .

Они подходили к люльке, стучали пальцем по краю и с укорами спрашивали:

— Эй, ты, пиголица, скоро окачуришься? . . .

— Ишь взялась жить! . . .

— Подумай только: кто тебе рад?

Девочка, думая, что ей говорят ласку, улыбалась во весь ротик и роняла жевку.

— Санечка! Доченька! — встрепенулся отец, — скажи им всем: «Я, мол, с вами не согласна . . . Почему все мои остальные братья и сестры — люди, а я козявка?... Чем я виновата, что родилась последней?»

Повернувшись к старшей дочери, он весело крикнул:

— Анютка! Сделай Санечке новую жевку! Да побольше! Пускай живет!

ОТЕЦ

Весенняя суббота. За дворами дымят бани. Банный дым особенный: пахнет сыростью, распаренными березовыми вениками, трудовым потом и почему-то копченым окороком.

С поля ждут пахарей, прислушиваются к тележному тарахтенью. Там и сям запели колеса: скрипами, свистами, трелями . . . Едут!

Мать приготовила едучего щелоку. Огромный чугун с двух сторон выщерблен, вынуть его из русской печки можно только, опираясь рогачом на деревянный каток.

Пахари под'ехали ко двору: отец, старший брат, дальний родственник, по прозвищу «Громышок» — шумоватый, юркий, кудрявый старик.

Ребятишки бегут навстречу: отец всегда оделяет гостинцами, откуда бы ни заявлялся. На этот раз он достает из мешка черствые, запыленные куски хлеба.

— Вот, лиса прислала. Едем, а она выбегает на дорогу и спрашивает: «Домой?» — «Домой» . . . — «Нате-ка вот ребятишкам гостинчик» . . . — «Давай» . . .

Дети верят каждому слову. Лица расцветают улыбками, восторгом, гордостью. Только у отца с лисой крепкая дружба: он встречается с ней и на базаре, и в лесу, и возле речки, и в поле, — и всегда она что-нибудь даст

для ребятишек. Когда нет ничего с'едобного, надает цветочков, камушков, свистулек из стручков акации. Только лиса такая добрая. Ни от волка, ни от зайца, ни от медведя никогда ничего не допросишься.

Почти каменные куски хлеба кажутся слаще материнской стряпни: пирожков, блинчиков, лепешек.

Голову мужикам моют бабы: так уж исстари заведено. На полу широкая лоханка, на приступке возле печки деревянное корытце. В нем щелок. Он такой мылкий, что Боже упаси — тереть голову мылом: тогда вовеки не смоешь пену. Для мягкости и легкости можно смочить волосы кислым молоком, которое уже давно пенится, пыхтит и для еды не годится. А если попробуешь, вырвет глаз.

Мать моет голову отцу, а он кряхтит от удовольствия и сладко стонет: о . . . о . . . Это значит, что щелок и кислое молоко всю черноземную грязь, накопившуюся за неделю полевых работ, гонят в деревянное корытце. Голова после этого делается невесомой, как будто и нет ее.

Расчесав кудри, идут в баню, забирая с собой мальчишек. После мужиков пойдут бабы с девченками.

Баня низкая. Распрямишься во весь рост — головой о потолок стукнешься. Поближе к каменке, под самым потолком — шесты для снятых рубах и штанов. Пока моются, одежда выжаривается. Пуговицы делаются огненными. Нечаянно заденешь, пришкварят. В углу — кадки с холодной и горячей водой. Чистое белье и зимой и летом в передбаннике.

Первый пар — самый крепкий и дурманный. Приподняться не моги: сваришься! Сидят на корточках и потеют. Но отец пару не боится. Просит «поддать». На раскаленную каменку плещут из ковша. Белая шипучая вол-

на распахивает дверь. Люди валятся на пол, боязливо озираясь:

— Все целы?

Отец надевает шапку и рукавицы (голова и руки не терпят) и лезет на полок. Нахлестывается березовым веником и южит. Ногам очень хорошо. Отец задирает их к самому потолку. С полка летят горячие брызги, мокрые распаренные листочки.

— Не запарься, батя, — говорит старший брат.

— Еще чуток . . . Ой, вот тут . . .

С полка не слезает, а падает на сидящих внизу. На четвереньках выползает раздетым в передбанник и ложится на солому кверху животом:

— Уф! . . . Слава Богу! . . .

Зимой обязательно покатался бы по снегу и снова в баню: это «всю немочь из жилочек и суставчиков выгоняет» . . .

Красный, дымящийся, качающейся походкой доплелся домой и повалился, как сноп, на пол.

У печки уж гудит самовар. Когда скипит, всю воду выльют в чугун и поставят на жар в печку, а в самовар снова нальют холодной. После бани пьется. Вся семья выпьет ведра три, а самовар только ведерный, потому и отливают, чтобы потом, когда разопьются, уже не канителиться, а только достать из печки готового кипятку и вылить в самовар.

* * *

Проезжая на санях или на телеге мимо пешехода, отец обязательно остановит лошадь и скажет:

— Садись, чего зря шагать?

Однажды, возвращаясь с ярмарки, насажал полную

телегу баб. Навстречу ехали на верблюдах (много их в Бузулукских раздольях). Лошадь испугалась и помчала, не разбирая дороги. Бабы визжали, охали, стонали, крестились. Кое-кому удалось спрыгнуть. В лощине, на лесной опушке, колесо зацепилось за дерево, телега опрокинулась, бабы рассыпались кувырком — кто куда. Лошадь остановилась.

Глядит отец — все бабы поднялись, юбки отряхают, кто смеется, кто плачет, а одна баба лежит пластом и кровью обливается. Зашумели все:

— Варвара на смерть убилась!

— Внутренности отшибла!

— И новую самопряху сломала, жалость-то какая!

— Глядите, глядите, кровь-то как полыщет! . . .

— Все равно бы ей этой осенью помирать: чахоточная она . . .

Муторно стало отцу: что теперь будет? Ведь могут в тюрьму засадить. Не иначе, как «Анчутка» попутал, эта нечисть как раз в дуплах водится, а тут их вон сколько . . .

Бабы отца успокаивают:

— Не убивайся, дядя Михаил, все в свидетельницы пойдем, как одна, скажем: «Жизнь в ней на паутиночке висела» . . .

— Поезжай сейчас же за дохтуром и прокуроном, а мы тут подождем, чтоб тебе никакой сумнительности не было.

Часа через два начальство из Павловки нагрянуло вместе с заводским врачом. Допросили, осмотрели, протокол составили, грамотным подписаться предложили, а грамотеев, кроме отца, никого. Вместо росписей одиннадцать крестиков поставили.

Положили мертвую на телегу, фартуками прикрыли.

Шагом поехал отец, а бабы справа и слева пошли — печальные, с Божьим произволением примиренные.

На другой день все село хоронило убившуюся, а через день после похорон родные покойницы на том месте, где она Богу душу отдала, часовенку стали строить из дубовых стояков с железной крышей. Образ великомученицы Варвары в часовне поставили, бумажными цветами украсили, травами луговыми, ветками рябины с красными гроздьями.

В первое воскресенье на панихиду у часовни три села собрались. Пели все собравшиеся. Молились и плакали о новопреставленной и о всех до своего земного срока скончавшихся.

Много лет стояла часовенка. Подновлялись венки вокруг образа. На полу всегда свежая травка летом, а зимой сено или солома, чтоб мягче было коленям, если кто вздумает помолиться. Каждый прохожий и проезжий, завидев часовенку, снимал шапку, крестился и просил:

— Святая великомученица Варвара, моли Бога о нас.

Люди из дальних мест спрашивали:

— Почему часовенка поставлена?

— А тут один добрый человек бабу убил.

— Добрый?

— По нечаянности, знамо.

* * *

У отца была кличка «Вдовий угодник». Увидит кровлю раскрытую, стояки покосившиеся, ставню, болтающуюся на одной петле, сразу догадается: вдова многодетная, не хватает бабе сил справиться с хозяйством. Зайдет:

— Давай-ка пособлю.

И работает день, два, три.

— Дядя Михаил, да чем же я отплачу тебе?

— Глазами веселыми . . . Глупая, коль сам пришел, какая ж может быть речь о плате?

От Виловатова до Павловки дорога — одно мученье: ямы, рытвины, колдобины, буераки. А езды много: в Павловке по пятницам базар.

Не раз уговаривал своих односельчан:

— Давайте в праздник соберемся и дорогу починим.

Мужики ржут, как жеребцы:

— Да ты что, дядя Михаил — с головой аль без головы? . . . Да разве одни мы по этой дороге ездим? . . . Да с какой это стати мы на весь белый свет будем пот проливать?

— А сколько колес-то поломается, сколько осей не выдержит этой дороги за лето . . . Ведь самим будет лучше . . .

Не уговорил, не убедил. А мысли о дороге не оставил. Не хотите всем миром, Бог с вами, без вас обойдусь!

Пришло воскресенье. Народ к заутрени одевается, а отец детей и внуков будит:

— Вставайте, в лес пойдем, за ягодами, за грибами.

— Дедушка, а зачем топор и лопату берешь?

— На всякий случай. Одной-то лопаты, пожалуй, маловато будет, нате ка вот еще . . . Пилу тоже захватим.

Хлеба заберут, соли и скроются до позднего вечера. Дружно чинят дорогу, а проголодаются, подойдут к речке, сядут на берегу и мокают хлеб в воду, а сверху подсаливают. И так каждый праздник.

Через два месяца в Павловке ярмарка. За 50 верст подводы тянутся. В лесу обоз версты на три образовался. Удивленью нет конца.

— Да кто ж дорогу-то починил?

— Не дорога, а пришпект.

— Может казенные мастера?

— Будет на такую дорогу казна тратиться . . .

— Тут пчельник неподалеку. Старику-пчеляку наверно скучно без дела, вот и чинит дорогу, чтоб в царство небесное попасть.

Отец тут же. Слышит все речи, шутки, предположения, догадки. Радостно на душе, а сказать: «Я это сделал» — и в мыслях нет. Да и не поверил бы никто, потому что на такое дело только святые да юродивые способны.

Скотину отец жалел не меньше людей. За ночь два раза к лошадям и коровам выйдет. Дальнее поле — за 12 верст. Наложит снопов полный рыдван, и всю дорогу идет пешком. Мне бывало скажет:

— Садись.

Но стыдно сидеть, когда отец идет.

— Я не люблю на возу ехать.

Поймет в чем дело, по голове погладит:

— Ходить пользительно, кровь не застоится в жилах.

За день четыре конца успеем сделать. Сладко спится после дневных пеших прогулок. Те сказки, что отец дорогой рассказал, во сне повторяются. Хорошо с отцом, весело. Бедность богатством кажется.

Вечером на улицу выйдет, думает: к какому двору подойти? Свернет к Матасову — и все туда бегут:

— Сейчас потеха начнется, от сказок дяди Михаила все обезживотеют . . .

Летом цыганы в шатрах живут — то возле одного села, то возле другого. Зимою в шатрах не согреешься: на ночлег в избы просятся. Да кто пустит? Еще обворуют.

Постучатся к нам в окошко:

— Пригрейте, люди добрые.

— Заезжайте! — радушно говорит отец.

Мать только головой покачает:

— Своих двадцать душ, повернуться негде, а тут еще чужая орава, — где на ночь укладывать? . . .

— Ничего, как-нибудь разместимся, зато веселье-то какое начнется: песни, пляски.

— Да ведь они на руку не чисты.

— У нас воровать нечего.

Вечером набьются мужики, бабы, парни, девки, ребятишки. Каждый вершочек забит людьми: и у печки, и на печке, и на полатях, и на кроватях . . . Ребятишки под стол забьются, оттуда, как зверята, выглядывают.

Воет ветер в трубе. Шуршит пурга за окнами. А у нас песни до полночи.

* * *

Советская власть в каждом селе большевиков расплодила, да не простых, а чванливых, с зазнайством, задираньем носа. А страшнее всех Сашка Караваев из села Борского. В любой праздник с утра надрызгается и кричит жене:

— Хочу себя показать!

Прикажет оседлать рысака, сядет верхом, захватит наган и летит вихрем в Виловатое. Сам маленький, белобрысенький, тщедушный, а страху на всех нагонит, только держись! Пальнет вверх, пальнет направо, пальнет налево! Парни и девки шарахаются, старики и старухи крестятся, ребятишки в подворотнях застревают, а большевику лестно: вот как все боятся!

Подкатил однажды к соседнему дому (там его племянница жила), великанится, задается.

Подошел отец.

— Ты чего же это, друг ситный, делаешь, по белу свету пули рассыпаешь? Неровен час: беда стрясется, кто тогда в ответе?

Схватил партиец отца за грудь.

— Да как ты можешь мне такие речи говорить?

А сам наганом в отцову голову тычет:

— В одну секунду твоего духа не будет!

Спасибо, соседи вступились, угомонили гордого родственника.

— Сейчас им скажи спасибо, но рано иль поздно не жить тебе на свете: еще никто меня не учил, а ты учить вздумал!

Через неделю снова мчится по виловатовской улице. Опять выстрелы направо и налево.

Отец во дворе кур ячменем кормил. Вбегает племянник Мишка:

— Дедушка! Караваев к нам заворачивает! . . . С наганом! . . . Наверно тебя хочет пристрелить! . . .

Отец в избу. Переступил порог и упал возле кровати. Подбежали, — а он мертвый.

На другой день хоронили. Было Благовещенье. Все село собралось. День солнечный. На скворешнях скворцы. Над селом жаворонки. Народ завидовал:

— В какой хороший день идет душа к Богу. За великое добро сподобил Господь такой чести.

Плакали все — и молодые и старые.

Из жизни ушел человек, смыслом бытия которого было радование своих и чужих — ласковым словом, добрым делом, тихим уговором, добродушной шуткой, старинной песней, захватывающей сказкой, широким гостеприимством, кроткой молитвой, постоянным, не прекращающимся ни на одну минуту, искренним вниманием к людям.

1952 г.

ДВЕ СИЛЫ

Соседки Акулина и Настасья поругались. С неделю злобились. Встретились нечаянно на речке — пришли за водой.

Смущенно заулыбались.

Домой пошли рядом. На плечах — коромысла с ведрами. У Акулины — голубые, у Настасьи — розовые. Вода не колыхалась: шагали медленно, нога в ногу, высокие, статные, красивые.

Обе разом вздохнули, — об одном думалось.

— Как мы недавно, кума, ругались-то с тобой, дуры ведь, как есть дуры.

— А ты думаешь, еще не поругаемся? Э, на этот счет и зарока давать не надо: все равно не утерпим.

— Так неужто ж нельзя прожить жизнь без ругани?

— Кабы беса на свете не было, то может и ругань промеж людей не заводилась бы. А ведь этому нечистому неймется: только о том и думает, как бы сцепить людей.

— Люди — что, ты погляди на цыпляток: какие манюсенькие, а как, бывает, дерутся-то... А ведь сердчишки-то у них меньше горошинки, где бы там злу поместиться? . . . Ан, нет, вз'ерошатся, всхохлятся, глазенки пронзительные, прыгают, как резинковые, по перышкам кровь льется . . .

— Так неужто и цыплят на драку бес подмывает?

— А кто ж, как не он? Ведь ему все равно, кто бы ни дрался: люди ли, звери ли, птицы ли.

— Ах, вражище рогатый, ах, нечистая сила, да какая ж ему корысть от этого?

— Богу хочет досадить: «Ты, мол, меня с неба сверзил, так вот погляди, как Твоя тварь на земле грызется» . . .

— Так неужто «он» сильнее Бога?

— Да ты что? Ополоумела что-ли? Когда Бога вовремя вспомнишь, бес всегда в дураках остается: хвост подожмет и скорей наутек.

— Эх, кабы мы почаще Бога вспоминали, ведь жизнь-то совсем бы другая была.

— Да вот то-то и оно, что мы насчет Божественного уж больно не догадливы, словно мозги-то у нас не человечьи, а, прямо сказать, цыплячьи.

Легко было на душе от таких разговоров. Светло. Празднично. Но вот одна забоялась и другая: как бы не слетело с языка нехорошее. Замолчали. Так-то лучше.

Шагали попрежнему, мерно, степенно.

Вода не колыхалась в голубых и розовых ведрах.

1949 г.

КТО ОСТАЛСЯ?

В апреле, когда на деревьях набухают почки, друзья из шумной столицы приезжали ко мне за город.

В мае, когда распускаются листочки берез и тополей, когда в воздухе мелькают красные и желтые бабочки, а под небом заливаются жаворонки, друзья снова спешили ко мне.

Летом их манили цветы, травы, медовый запах липы: осенью — багряный наряд деревьев; зимой сказочность сада, опушенного инеем.

Все они любили природу, искусство, дорожили бескорыстной дружбой.

Мы говорили о Боге, о красоте жизни, открывали друг другу тайники души.

Однажды мы устроили юбилей дружбы. На нем присутствовали люди трех поколений: одни значительно моложе меня, другие на много старше.

Интересы, симпатии и стремления самого молодого в нашем кружке не были чужды самому пожилому. Старшие среди нас передавали свой опыт младшим. Общей нашей целью было украшение жизни правдой, честностью, добрыми делами.

Высшей ценностью для нас было время, и мы берегли его, как зеницу ока. Мы считали преступниками тех, кто

убивает хотя бы минуту пустословием и картежной игрой. Среди нас не было курящих и пьющих.

На юбилейном вечере мы произносили тосты за чистоту отношений, за нерушимость дружбы, за островок благородства в каждой душе, ни при каких обстоятельствах не затопляемый мутными волнами корысти и мелочных расчетов.

Это было зимою. За окнами падал снег — медленный, густой, тихий, пушистый. Нам неудержимо захотелось выбежать из ярко освещенной комнаты в сказку ночи.

— Боже, как хорошо! — невольно восклицали мы, прыгая со ступенек крыльца.

Ветви деревьев и кустов, телефонные провода вдоль изгороди сада повисали под тяжестью белого одеяния.

Голубоватый свет из окон падал большими четырехугольниками на снежные сугробы.

В нас проснулось детство, и мы стали толкать друг друга, кувыркаться в белом пуху, играть в снежки.

А потом разрумяненные движениями и снегом, мы сидели за столом и пили горячий, ароматный чай.

Со стен на нас глядели портреты Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова.

Корешки переплетов за стеклом книжного шкафа говорили нам о сокровищах, которыми мы обладаем.

Война оторвала нас друг от друга, от книг, от поэтического уюта загородного жилья.

Где вы, мои браться и сестры, по духу?

Много раз за это время лето сменялось осенью, бушевали зимние вьюги, весной цвели вишни у веранды с разноцветными стеклами . . .

Но ни на веранде, ни в комнате, ни в саду не раздавались наши голоса.

Что стало с вами, мои дорогие друзья?

Если вас пощадили война, время и застенки правителей, вы вспоминаете обо мне так же, как и я о вас. Вы часто спрашиваете так же, как и я:

— Кто остался?

Суждено ли нам снова собраться всем вместе и молитвенно отпраздновать свое воскресение из мертвых, или немногие уцелевшие будут справлять тризну по ушедшим навеки?

А вишни весною будут цвести попрежнему, аромат липы затопит сад в июне; золотая осень разукрасит деревья, и одеяло пушистого снега согреет землю, на которой мы когда-то жили, по которой ходили и бегали, не подозревая, какие бедствия обрушатся на наши головы и сердца.

1943 г.

СКАЗКА

Село длинное. Улица в два порядка. Соломенные и тесовые крыши. Скворешники. Мурава. Вечерами блеянье овец и мычанье коров: идут домой из стада.

Небо то голубое, то в гремящих тучах. Ночью звезды. На них радостно смотреть, когда ночуешь на телеге. Вместо постели сено. Глядишь вверх и удивляешься: как их много! Там Бог. От Него гром, дождь, снег, тепло, трава и цветы, бабочки и птицы. Для хороших людей Ему ничего не жалко: все сделает. Только не греши: слушай старших, не скоромься, не дерись с товарищами, молись.

Чего бы попросить у Бога? — долго думает Ванька. Сапоги справлены. Сатинетовая кремовая рубашка и голубой пояс с толстыми кистями куплены. Еда хорошая: забеленые щи и пшенная, рассыпчатая каша.

Наложат ее в глиняное блюдо, в середине ямка, а в ямке — коровье масло, растопленное, желтое, как янтарь. Подденешь с краю деревянной ложкой с лаковыми цветочками и в масло макнешь. Так вкусно, что глаза зажмуряются.

Под праздники мать покупает у мясников требуху. Сначала ее нужно хорошенько промыть в речке, потом горячей водой, чтоб «зелени» не осталось. Сваренную порубят тяпкой в деревянном корытце, луку, перцу подбавят.

Тесто пшеничное, сероватое. Пирожки называются «приженчики» — величиной с ванькину ладонь. Сковорода огромная: сразу штук десять шипят в бараньем сале.

Ребятишки на печке. Между стеной и трубой — прогалина. Дети протягивают руки. Горячие пирожки обжигают пальцы, губы, язык. Такой еды нет даже у господ. Но у них есть другое.

Один раз на ярмарке Ванька прошел мимо барыни — белая, полная, в золотистой шляпе с птичьим крылом. Райский дух по всей ярмарке заструился. Побежал за ней. Носом воздух втягивал, глаза прищуривал, думал: «Откуда это? Вот бы такое снадобье в деревенские избы, все бы заглушило: и детские пеленки, и телячий и ягнячий дух, и кизячный угар из печки, и дым от цыгарок-самокруток. Ночами от такого запаха снились бы райские сады и ангелы. Кто делает т а к о е? Где продают е г о? Какие деньги берут? Раз у деревенского народа нет, значит не дешево стоит, не по карманам девкам и бабам» . . .

Похвалился вечером товарищам на улице, какую барыню видел, а ровесница, бойкая, озорная Машка, смеется:

— На станции такие господа каждый день: из Ташкента в поезде едут!

— Пойдемте в воскресенье поглядеть!

Восемь человек уговорилось: Ванька и Машка — самые старшие, а остальные все — мелкота. Ольгутке Софроновой пять лет всего.

Дорога до станции лугами и лесом. Через «Прохоровскую» мельницу надо пройти. Семиэтажный каменный корпус дрожит и гудит днем и ночью: из пшеницы крупчатку делает.

В господском саду клумбы, зеленая подстриженная трава. В середине сада белорозовый дом со шпилями, боль-

шими окнами. В простенках какая-то зелень вьется. Машка говорит: «Виноград».

Тихий осенний день. Небо, как юбка у Ванькиной сестры-невесты: гладкое, голубое. Кто-то курлычет вверху. Остановились дети, головы к небу подняли. Птицы углом летят. Одна сторона длиннее.

— Гуси!

— Нет, журавли! — спорит Машка. Она все знает. Ей никто не перечит.

Деревья желтые, красные, оранжевые. Только ветелки зеленые. На Самарке — плотина. Вода бушует, клубится, шумит. От старших слыхали, что поблизости, в ямах, сомы живут. Страшные они, ротастые, могут утку живьем проглотить.

За мельницей, на поляне, рожь взошла: зеленая, яркая. Ветер набросал на нее желтых листочков. Они кажутся цветами.

Вон и станция завиднелась. Стоит длинный товарный поезд. Паровоз посипывает: пссс, пссс . . .

Прибавили шагу. Машка говорит:

— Сейчас скорый придет!

На станционной платформе народ: девки, парни — для развлеченья из соседних сел приходят. Нарядные. Смеются, семечки грызут, щиплют друг друга, взвизгивают.

Бородатый дяденька в колокол позвонил.

— Эй, вы, орда! Чего разгайкались? Это вам не деревенская улица, а пути сообщения!

Притихли все. За оградой, под тополями, торговки: всякое добро разложено — пироги, жареные куры, пампушки, масло, молоко, квас, крупные раки, яблоки, копченая вобла, ватрушки, блинчики.

Все ждут поезда, а он, как на грех, запаздывает.

Долог ли осенний день? Вон уж солнце к лиловым горам опускается. Прохладкой потянуло.

— Идет!

Это парни и девки крикнули. В ту сторону глядят, где по утрам солнце всходит. Гул нарастает, приближается. Раздался свисток — певучий, долгий, за золотистым лесом откликнулся. Из зеленых елок паровоз вынырнул. Мчится так, как будто и не думает останавливаться. Торговки засуетились. Парни и девки шарахнулись подальше от рельс. По первому пути идет. Остановился мягко, сразу. Вагоны зеленые, синие, желтые. Выходит народ: такого в деревне не увидишь. Почти от всех приятный дух.

Торговки шумят, свой товар расхваливают. Господа больше всего раков покупают, а кто попроще, — пирожки, курятину.

— Сюда идите! — зовет Машка.

Красивая барышня стоит под руку с кавалером. Оба смеются. Она в белом воздушном платье. Волосы русые, будто шелковые. Ветра нет, а они шевелятся. Пахнет от барышни еще лучше, чем от барыни на ярмарке: и ландыш и сирень, все ароматы весенних лугов и леса в этом запахе. Хоть бы подольше постоял поезд! На всю бы жизнь нанюхались!

Подошли к вагону с широкими окнами. На столах хрустальные вазы с яблоками, виноградом и какими-то желто-красными шарами.

Машка говорит:

— Здесь господа кормятся.

— Мячики! — показывает пальцем Ольгутка.

— Не мячики, а рухты, пельсинами называются, господская еда.

Бородатый дяденька, какой стыдил парней и девок,

два раза в колокол ударил. Все «душистые» уходят. Немного погодя — три удара. Свисток. Вагоны неслышно двинулись с места. Туда, где солнце скрылось, побежали. Долго смотрят дети на последний вагон. Завидуют. Поедут ли когда-нибудь хоть не в таком поезде, хоть без «рухты», которая называется «пельсинами»? . . .

Закат быстро отпылал. Густели сумерки. По озимям расстелилась туманная свежесть. Пошли по узкой тропинке, гуськом. Впереди Машка, за ней Ванька. Вот и мельница. Семиэтажный корпус весь в огнях. Из господского дома доносится музыка . . . Никогда такой не слыхали: будто колокольчики звенят и весенняя капель в лужицы булькает.

В одном месте оградка проломана. Первой Машка пролезла, за ней остальные. Подошли, озираючись, к окну.

— Ой, какая музыка чудная: с белыми и черными пряничками! . . .

Играл дяденька с русыми кудрями. Возле него стояла барышня в голубом платье и пела:

Я вам пишу, чего же боле,
Что я могу еще сказать?

Замерли от удивления. Не заметили, как подкрался сторож:

— Вам чего надо, босая команда?

— Дяденька, мы ничего не украдем, вот провалиться на этом месте, не украдем! Только музыку послушаем . . . А почему она на веялку похожа?

— Эх, необразованная деревенщина: рояль веялкой окрестили . . .

— Я р а л ь! — с благоговением сказала Машка.

— Ну, смотрите у меня, — строго сказал старик, —

будете баловаться, Вячеслав Семеныч по головке не погладит!

И скрылся куда-то. Через минуту услышали его голос:

— Там целая орава деревенских ребятишек окна облепила . . . Конечно, темнота-матушка, никогда благородной музыки не слыхали . . .

Кудрявый подошел к окну, открыл форточку.

— Здравствуйте, молодые люди!

Ответили хором:

— Здравствуй.

— Откуда?

— Из Виловатки.

— Какими судьбами?

— Приходили на станцию — господ понюхать . . . От них больно хорошо пахнет . . .

— Что? . . . Что? . . . Ничего не понимаю . . .

— У нас нет такого духу, а все господа, словно душистые конфетки, — сказала Машка.

Музыкант засмеялся, подошел к барышне, стал рассказывать ей о «чудаках». Барышня тоже захохотала.

— Дяденька, а нам можно туда? — спросил, показывая пальцем на окно, шустрый, черноголовый Мишка, по прозвищу «Ротан», потому что всегда очень громко говорил.

— Милости просим.

Навстречу вышел.

— Вот сюда.

Робко, один за другим, вошли в огромную залу. Пол из желтых блестящих квадратиков, посреди большой, пушистый, голубой ковер. И стены нежно-голубые. В одном простенке зеркало от пола до потолка. А на потолке какая-

то красавица с голыми грудями, одежу под ноги уронила. Возле нее коротконогие ангелочки со стрелами.

Вдоль стен стулья с высокими спинками.

— Садитесь.

Забрались с трудом, прилепились по краешкам. Замерли.

— Ну, говорите, что вам сыграть? — спросил музыкант.

— Мы не знаем, — смутилась Машка.

— «Коробочку», — громко сказал «Ротан».

— Сыграйте им «Компанеллу» Листа, — сказала певица.

И вот забулькали нежные звуки. В такт им затрепетали сердца. Ветер бросил в открытую форточку горсть желтых листьев и рассыпал на детские головы и шеи. Листья холодили, но никто не шевелился.

— Ну, а как же будете добираться до дому? — спросил через некоторое время музыкант.

— Не знаем, — робко ответила Машка.

— Боитесь наверно?

— Боимся.

— О чем же думали раньше?

— Поезд опоздал . . . потом вашу музыку слушали . . .

— И про волков в лесу забыли?

— Да . . .

— Вячеслав Семеныч, так как это ваши новые поклонники, придется вам отвезти их домой на машине.

— Да я уж и то подумываю об этом, нельзя же таких хороших слушателей оставить на с'едение волкам . . .

Маленькая Ольгутка захныкала.

— Ну, чего ты, — набросился на нее «Ротан», — ведь дяденька сказал, что отвезет нас.

— Постойте! — спохватилась барышня, — они же вероятно голодны, как волчата.

Она куда-то выбежала, но скоро вернулась с большим блюдом, на котором была целая гора румяных, душистых булок — каждому по булке.

— Подкрепитесь.

Руки тянулись к блюду с дрожью, с боязнью, что в последний момент господа раздумают и унесут угощенье назад . . .

Прежде чем приняться за еду, Машка долго нюхала круглую, сдобную булку, закрывая от блаженства глаза.

С неохотой выходили из одной сказки в другую. С трудом усадил Вячеслав Семеныч восемь маленьких душ в машину, которая бегает без лошади. Дал гудок. От неожиданности вздрогнули, кое-кто вскрикнул.

Два фонаря впереди бросали на дорогу по длинному лучу. Все видели, как мелькали золотые искры листопада. Сердце замирало от быстрой езды. Только на плотине машина замедлила бег. Каждая дощечка моста со щелканьем подскакивала и опять ложилась на свое место — и это напомнило недавнее подскакиванье черных и белых «пряничков» рояля. Бушевала вода под мостом. В машине было тесно, но никто этого не замечал. Хотелось ехать до самого края света . . . Как быстро домчались до Виловатого!

Невесомыми от счастья выходили из машины.

— Чудак этот Вячеслав Семеныч, как будто совсем не барин, — говорили отцы и матери, принимая детей.

— Какой хороший дяденька, — думали малыши, засыпая на своих жестких постелях.

Жизнь в этот день подарила каждому из них — незабываемую сказку.

1952 г.

СТРАШНЫЙ ЭКЗАМЕН

На вид ей можно дать лет шестьдесят. Она из «новых». В Европу попала из Смоленска в конце 1942 года. Когда единственную, пятнадцатилетнюю дочь Таню немцы внесли в список отправляемых на работу в Германию, мать упросила не разлучать ее с крошкой.

К счастью, обе они попали в прислуги в культурные семьи в Берлине. Это было лучше, чем жить в лагере и носить на рукаве нашивку «ОСТ». Хозяева относились к ним хорошо и не изнуряли работой. Мать и дочь встречались каждую субботу в русской церкви на Находштрассе. В воскресенье они шли вместе к обедне.

Когда архимандрит Иоанн в своих проповедях говорил об исытаниях, ниспосланных русскому народу, о смирении, молитве и терпении, которые вернут нас к Богу и к Родине, все молящиеся плакали.

После службы дочь на весь день уходила к матери, жившей в районе ЦОО. Они вспоминали родной, разрушенный войною Смоленск и дорогих для них людей.

— Где-то теперь папа и Геничка? — спрашивала Таня. Мать при этом вопросе всегда плакала. Красивая кроткая Таня, глядя на плачущую, тоже не могла удержаться от слез.

В феврале 1945 года им посчастливилось вырваться

из Берлина по направлению к югу. Через неделю они очутились в Зальцбурге, где в это время было много русских беженцев. Здесь они дождались конца войны и прихода американцев.

Я познакомился с Александрой Павловной уже в дипийском лагере. Ее отец был много лет священником. Перед последней войной служил ночным сторожем. Умер восьмидесяти лет, уже при немцах и похоронен на Смоленском Братском кладбище.

Отец Тани был мобилизован в красную армию сразу после начала войны. До прихода немцев в Смоленск Александра Павловна не получила от него ни одного письма.

Какая судьба выпала на долю единственного сына Геннадия, известно было только Богу. За три года до войны, прямо со студенческой скамейки, его отправили врачом на Сахалин.

Я не знал подробностей этой ссылки. Всякое напоминание о сыне заставляло мать плакать и я стеснялся расспрашивать ее об этом. Но однажды, когда зашел к ним из церкви на чашку чая, Александа Павловна сказала:

— Я давно хотела рассказать вам о Геничке, но както все не хватало духу . . . А сегодня ничего не утаю . . . Только заранее прошу прощения за слезы . . .

— Тогда может-быть не стоит? . . . Зачем бередить раны?

— Ах, жизнь не перестает их бередить каждую минуту . . . Посмотрите на меня, — кто мне даст 46 лет? Ведь я совсем старуха. Что меня состарило? Горе — постоянное, ежедневное, ежеминутное. Муж, как бывший офицер белой армии, был всегда на подозрении у властей. Сотни раз его увольняли со службы. Сотни раз он спрашивал у меня:

— Что же делать, Шурочка?

Уверенности за завтрашний день не было никогда. Я учительствовала, но отчаяние часто валило меня с ног и я по два, по три месяца лежала в больнице. Одно было утешение: дети. Но что их ждало впереди? Как дети белого офицера, — разве могли они пробить себе дорогу сквозь джунгли придирок, подозрительности, чрезмерной советской бдительности? Нужно было спасать себя успешным учением. Благодарение Богу: Он не лишил их способностей. Геничка из класса в класс переходил отличником. Преподаватели не чаяли в нем души. В Смоленском медицинском институте он обратил на себя внимание всех профессоров вдумчивостью, исполнительностью, серьезностью. Он избрал хирургию. Все прочили его в ассистенты при институте. Но . . . человек предполагает, а партиец-декан располагает.

Случилось так, что отличник по всем дисциплинам, по истории ВКП (б) он получил только «удовлетворительно». Перед тем, как выдавать ему диплом, партийное руководство института спохватилось:

— Как так? Почему по истории партии тройка? Надо предложить Пшеницыну — вторично сдать экзамен по этому предмету.

Сына вызывают в партийную организацию.

— Этого нельзя допустить ни в коем случае, — говорят ему. — Пусть будут тройки по всем остальным предметам, а по истории ВКП (б) — пятерка. Будьте добры — подготовиться к переэкзаменовке.

— В какой срок?

— В два дня.

— Это немыслимо . . . я болен . . . при вторичном экзамене я не сдам и на тройку.

— Постарайтесь, подтянитесь, от этого экзамена зависит ваша судьба: будете круглым отличником, останетесь при институте, а с тройкой по ВКП (б) придется поехать куда-нибудь на окраину.

И мой мальчик принялся зубрить ненавистную книгу. Он сидел в садике и читал, перечитывал, задавал себе вопросы и тут же отвечал на них. Мы звали его обедать — отказывался.

— Если я буду завтракать, обедать и ужинать, то не успею . .. Дайте чего-нибудь сюда.

Мы несли для него в садик еду. Он рассеянно глотал ее, не отрываясь от книги. Ночью продолжалась зубрежка в комнате, при свете лампы. Через двое суток — измученный, без кровинки в лице, Геничка пошел на экзамен, сказав в последний момент:

— Помолись за меня, мамочка. Господь добр: Он услышит твою искреннюю горячую молитву.

Ушел. Я преклонила колени. О, как я горячо молилась! Ведь на карту была поставлена жизь моего единственного сына. Моя мольба была сплошным воплем, но в этих стонах и слезах была надежда: Господь умудрит моего мальчика.

Он отсутствовал несколько часов. Нам с мужем удалось увидеть в окно, как он возвращался домой. Больные, после тяжелой болезни, двигаются быстрее, чем он в тот момент. Я еле удержалась от обморока.

— Шурочка, возьми себя в руки, — уговаривал меня муж.

Сын молча вошел в столовую.

— Ну? — спросили мы вместе с замиранием сердца.

Он попытался улыбнуться, но вместо этого на его лице изобразилось страдание.

— Сдал, — ответил он чуть слышно и повалился на пол, как подкошенный.

— Проклятые! Убийцы! — закричала я в исступлении, а муж метался возле сына, брызгал на него водой, пытался его напоить.

— Мамочка, ты плачешь? . . .

Это были первые слова Генички, когда он пришел в сознание.

— Поздравьте меня: теперь я круглый отличник. Два часа мучил меня профессор, два часа гонял по всему курсу, пытаясь угробить каверзными вопросами, но все его попытки оказались тщетными . . .

— Душегубы, — скрежетала я зубами по адресу мучителей, а сама прижимала к груди своего измученного малютку . . . Вы думаете, они сдержали свое слово? После переэкзаменовки секретарь партийной организации вызвал сына к себе и сказал:

— Мы убедились, что вы человек крепкой воли. Такие люди нам нужны. Вместе с волей у вас, конечно, в наличии и готовность — честно работать на благо советской отчизны?

Что оставалось делать сыну?

— Да, конечно, — ответил он.

— Самых лучших выпускников мы удостаиваем чести — поработать на далеких окраинах Советского Союза. Вы получите должность заведующего больницей на Сахалине.

Никакие просьбы, никакие доводы против такого назначения не помогли. И мой мальчик отправился в далекую ссылку.

В течение двух лет он не мог получить отпуска. Наконец, 30-го марта, 1940 года получаем телеграмму: «Зав-

тра выезжаю домой. Ждите телеграмм с дороги. Через три недели буду дома».

Представляете, как мы все заплакали от радости? Но проходили дни за днями, а новых телеграмм не было. Миновали три недели. Ежеминутно мы ждали стука в дверь, выходили на дорогу, глядели в окна, искали газетных сообщений о пароходной или железнодорожной катастрофе, потеряли покой и сон.

— Где он? Что с ним?

Только через полтора месяца получаем телеграмму из Иркутска:

— Все страшное позади. Скоро буду дома.

Но теперь уже не верилось в счастливый исход. Мы были близки к помешательству.

Через десять дней после второй телеграммы, в полночь, раздался легкий стук в окно.

— Геня! — закричали мы. И это был действительно он — бледный, измученный, но с радостно сверкающими глазами.

— Не надо плакать, мои дорогие: Господь спас меня.

— А что же было с тобою?

— На пути с Сахалина пароход наскочил ночью на плавучую ледяную скалу, как когда-то «Титаник» . . . В живых остались немногие . . . Я в их числе.

Опять слезы, об'ятия, благодарственные молитвы. Когда мы пришли немного в себя, он рассказал как было дело.

Катастрофа произошла в первом часу ночи. Когда выяснилось, что пароход гибнет, Геня, привязав к поясу фляжку со спиртом, бросился в море. Вода была ледяная. Дул сильный ветер. Геня попытался взобраться на льдину. Ветер бросил его в море, когда он уже карабкался по

крутому склону скользкой глыбы. Вторая попытка окончилась тем же. Силы оставляли его. Тогда он воззвал к Спасителю: «Иисусе, Сладчайший! Ты не пожалел Себя, чтобы спасти мир от греха. Спаси меня в эти минуты ради дорогой, любимой матери».

И Господь спас его: он взобрался на ледяную скалу и укрылся от ветра в выемке. Через некоторое время возле него очутились еще три человека. Двое суток жили они на льдине. Все их питание состояло из маленьких глотков спирта. Но вот кончился и спирт. К счастью, их заметил спасательный катер. На материке их поместили в больницу, где и продержали больше месяца. О судьбе капитана и других пассажиров они ничего не знали. О катастрофе в газетах не было ни звука.

О, если бы вы знали, что пережили мы, слушая этот рассказ. Не верилось, что рядом с нами он, наш ненаглядный, худенький Геничка, наш талантливый хирург, заведующий больницей на Сахалине, похожий на подростка, несмотря на свои 23 года.

Отпуск продолжался месяц, пролетевший, как один день. Геня уверял, что приедет через год.

— Тогда меня обещают оставить в Смоленске, — утешал он всех нас.

Но через год началась война, а в 1942 году мы очутились, как «остовки» в Германии. Где муж? Где мой мальчик? Не лежит мое сердце к Европе. Не хочется мне ехать и за океан. На родину тянет меня каждую минуту. Увижу ли я ее когда-нибудь? Прижму ли к сердцу дорогих и желанных?

В продолжение всего рассказа слезы текли по лицу матери сплошными струйками, как дождь по окну в осеннюю ненастную пору.

— Вы их увидите и прижмете к сердцу, дорогая Александра Павловна. Господь спас вашего сына дважды: Он помог ему выдержать страшный экзамен, Он извлек его из холодной, морской пучины. И снова услышит Он ваши и его мольбы. Он соединит вас на свободной родине, только молитесь Ему не уставая с горячей верой и не угасающей надеждой.

1949 г.

ИВАН МЕСЯЦЕВ

Иван Месяцев покинул родную деревню юношей. Хозяйственный отец чувствовал, что революция 17-го года не принесет счастья крестьянству и не возражал против бегства сына в город.

По прибытии в Славянск молодой человек решил поискать счастья на железнодорожном поприще. Его приняли сначала на должность стрелочника. Через некоторое время он стал смазчиком на паровозе. Сметливость и расторопность паренька располагала к нему всех сослуживцев. В 22 года он был уже машинистом на поездах дальнего следования.

Богатырь ростом — высокий, широкоплечий, с черными, как смоль, кудрями, он был кроток и безответен, как ягненок. Голубые глаза великана всегда застенчиво улыбались и это напоминало скромных детей, когда их расхваливают старшие. Немало похвал слышал от начальства и Месяцев. При этом он всегда потел и беспомощно отмахиваясь левой рукою, говорил:

— Да, ну, чего там . . . За что тут хвалить? . . . Делаю, что должен делать . . .

Жена ему попала добродушная, незлобивая. Детей у них не было. Взяли на воспитание трехлетнюю сироту. Воз-

вращаясь домой после очередной поездки, Иван спешил порадовать гостинцами дочку Аленушку.

Даже в самые трудные годы при новом режиме железнодорожники жили лучше, чем все остальные русские люди: купят чего-нибудь в одном месте, беспрепятственно довезут до дому, перепродадут, променяют, глядишь — получилась хорошая прибыль. Голод, нехватки, стесненное положение машинистам были незнакомы.

Иван Месяцев не хотел выставлять себя вперед, выслуживаться, льстить, искать своего, но добросовестность не утаишь в безвестности: начальство любит гордиться хорошими работниками, печатает их портреты в многотиражках, премирует в дни 1-го мая и 7-го ноября. Сыпались эти милости и на Ивана. Одно всегда ставили ему на вид: беспартийный.

— Нельзя, Иван Степаныч, стоять в стороне, когда весь мир перестраивается заново, — внушали ему партийные главки, — твоей беспартийностью нам колет глаза сам нарком путей сообщения . . . Сколько лет можно отнекиваться своей неподготовленностью? Да и какая нужна подготовка для того, чтобы вступить в ряды мирового авангарда? Для этого нужна только сознательность, а в твоей сознательности никто не сомневается.

Такие разговорры происходили не один раз.

— Что нужнее государству — моя хорошая работа или мой партийный билет? — спрашивал недоумевающий машинист.

— Хорошая работа, одухотворенная заветами великой партии. Ты должен быть орлом не только в сфере своей работы, но и по линии политической активности, — говорили заученные фразы партийцы.

— Если я родился петухом, то орла из меня никак не выкроишь.

— Не скромничай, товарищ Месяцев: такие, как ты, укрепят авторитет партии и завоюют симпатии всего мира.

После многолетнего наседания Иван не выдержал: подал заявление о вступлении в ряды ВКП (б). Вскоре после этого ему выдали кандидатский билет. На четвертом месяце кандидатства, в начале 1933 года, Месяцев вместе с другими «активистами рабочего класса» был мобилизован на срочную работу в колхозах: нужно было ехать в села и в деревни и убеждать крестьян — везти на рынок хлебные излишки.

— Докажи преданность партии и правительству своей честной работой на селе, — сказали в парткоме, напутствуя Месяцева, — хороший результат ускорит твой переход из кандидатов в члены ВКП(б).

Никогда не бывая в селе с тех пор, как он убежал в город, Иван думал, что там все попрежнему: у каждого свой амбар, а в амбаре полно хлеба. Он помнил, что его отец в хорошие годы продавал не менее тысячи пудов пшеницы. Тогда никто не приезжал в село уговаривать мужиков: «Везите излишки на базар». Зачем же это понадобилось теперь?

На всякий случай, взял с собою триста рублей и провизии на дорогу: белого хлеба, сыра, колбасы, сахару. Запастись продуктами настояла жена, лучше знавшая положение в колхозах.

Он сошел с поезда на безлюдном раз'езде утром. Дул северный ветер. Два оголенных пирамидальных тополя стучали ветками друг о друга. В этих металлических звуках было что-то похоронно-тоскливое. Месяцев прошелся по заснеженной платформе, вошел внутрь давно некрашенного

станционного помещения. Везде пустота, бесприютность. Несколько жалких фигур, по рваной одежде которых и по замотанным в тряпье головам было трудно определить, какого они пола, дули на озябшие руки и согревались подпрыгиванием.

— Вы чего тут? — с невольным испугом вскрикнул Месяцев.

—В Москву думаем податься, да боимся — на поезд не пустят.

Вышел к под'езду. Ни одной подводы. Но со степи кто-то спешил на рыжей кляче, все время размахивая над нею кнутом. Слышались понукающе-плаксивые выкрики.

— Вероятно за мной, — подумал машинист, — в колхоз была дана депеша о моем приезде.

Когда подвода остановилась, из ветхих саней вышел худощавый, жалкий человек в коротком облезлом пиджаке, подпоясанном веревкой. На нем была старая шапчонка. Обут он был в кожаные, никогда ничем не смазанные и от этого безнадежно порыжелые сапоги. Увидев перед собою хорошо одетого, сытого, краснощекого великана, робко спросил:

— Вы, товарищ, не к нам?

— Коль ты из колхоза: «Крестьянское счастье», значит к вам.

— Из него, — обрадовался и смутился возница, робко протягивая руку приезжему. Крепкое рукопожатие гостя заставило слабосильного человека изогнуться и присесть от боли, которую он не хотел выдавать какими-либо звуками.

— Это и есть ваше «Крестьянское счастье»? — с грустью спросил Месяцев, показывая на клячу и сани.

— Дела, можно сказать, плачевные, товарищ уполно-

моченный, — еще более смутился возница, — о продаже хлеба государству нечего и думать . . . До ручки дошли, не знаем, как до весны дотянуть.

— Так о чем же думает правительство, посылая целую армию выкачивателей хлеба? Зачем меня сняли с работы и заставили ехать к вам?

— Не нашему разуму раз'яснить все это, товарищ уполномоченный.

По степи навстречу мела поземка. Сидеть в санях было неудобно, жестко, тесно. Кузов был слишком короток и Месяцеву пришлось свесить ноги через край.

Снег лежал только в ямах и впадинах. Там и сям виднелись обнаженные бугры. Ветер слизывал с них песок и стегал им по лицам.

— Ах, ты пакость, как иголками колется, — сердился Месяцев.

— В подсолнухе будет потише: он загораживает ветер, — успокоил седока кучер.

— А почему он остался на поле?

— Не успели убрать: рабочих рук не хватило.

— В старину все успевали делать, а теперь только и слышишь жалобу на безлюдье.

— Разбредаются кто куда, каждый ищет местечка потеплее да посытнее.

Поле неубранного подсолнуха тянулось вдоль дороги с обеих сторон. Здесь действительно было потише, но Месяцева взволновала эта бесхозяйственность. Он выпрыгнул из саней, чтобы посмотреть, остались ли семена в подсолнечных головках.

— Ни одного! . . . Все выбил ветер и склевали птицы! . . . Эх, вы, «счастливцы»! И не стыдно вам называть колхоз таким именем? Уж писали бы «Сборище ло-

дырей и голодранцев» . . . Только бы мне добраться до председателя. Всю правду в глаза выкажу . . . Расчихвощу, на чем свет стоит! . . .

— Товарищ уполномоченный, выказывай, расчихвощивай, потому как я и есть председатель.

— Да, ну тебя, да кто тебе поверит? — замахал руками Месяцев, — да где это видано и слыхано, чтобы на свете были такие замухристые председатели? . . . Не разыгрывай, голубчик. Да такого председателя язык не повернется — ругнуть . . . Небось, до костей прозяб?

— Немножко призастыл, товарищ уполномоченный, но мы к этому привычны.

— Не величай ты меня этим паршивым словом! Какой я тебе уполномоченный? Всю жизнь был Иваном, а когда вырос, стали Максимычем кликать . . . Так и зови.

— За это премного благодарны, Иван Максимыч. Говоришь, не видывал таких председателей? Ничего не поделаешь, сытых да смекалистых на эту должность калачом не заманишь. Третью часть хутора власть раскулачила в 29 м., другая треть разбежалась кто куда за последние три года . . . Кто остался в колхозе? Такие горюны, как я, которым податься некуда . . . Сам увидишь сегодня. Приказал всем в школе собраться.

— Перевернул ты мое сердце . . . Как тебя-то зовут?

— Нашего брата по имени и отчеству никто не величает. «Товарищ Хлестунов» — и все.

— Ах, ты болезный мой .. . Ну, как же ты меня расстроил . . . А вот школу вы все-таки соорудили, значит, не все у вас в плохом виде.

— Какое там, — безнадежно махнул рукой председатель, — от прежнего режима осталась . . . Раньше в наших краях припеваючи жили: скота и земли в волю, притеснений никаких . . .

— А теперь, значит, притесняют? . . . Ты вот что мне скажи начистоту, голубчик: как у вас насчет партийности?

— Партейных у нас — ни души, а кандидатов — трое.

— Значит, и ты — беспартийный?

— Вроде этого . . . в кандидаты меня записали . . .

— Да ну? — обрадовался Месяцев, — стало быть, как и меня? . . . Значит, насчет этого мы с тобою тезки? . . . А вот к чему это, ума не приложу . . .

— Секретарь райкома раз'яснял нам, будто беспартейным нельзя доверять государственных тайн . . . А на какого шута нужны мне их тайны? . . . Поменьше бы прижимали народ, побольше бы свободы давали в словах и делах . . . Тайнами сыт, обут и одет не будешь . . . Ну, вот и приехали в наш колхоз . . .

— В «Крестьянское несчастье»? — засмеялся Месяцев.

— Не вздумай так при народе сказать.

— Кто-нибудь донесет?

— Доноса может-быть никто не сделает . . . А все-таки, когда языку укорот даешь, жить на свете как-то спокойнее.

— Ну, хорошо, хорошо, не подведу тебя.

* * *

Колхозная улица в один порядок протянулась вдоль крутого берега реки. Там и сям были пустыри. На них торчали столбы, был навален мусор. Месяцев догадался, что когда-то здесь жили богатые люди, раскулаченные во время коллективизации. На отшибе стояла деревянная

школа с широкими окнами. Людей не было видно. Мертвое царство. Уныние. Колючий ветер.

— Согреться бы тебе, товарищ Свистунов, а то можешь воспаление легких схватить. Потребилка у вас имеется?

— Без этого заведенья ни один колхоз не обходится, да только для обиходной жизни нету в ней ни макового зернышка . . .

— Но чем-нибудь она все же торгует?

— Водкой и ячменным кофеем.

— Водка, значит, есть?

— Где ж нету этого добра? Она ж изготовляется, чтоб дух упалый веселить и для государственного бюджета, конечно . . .

— Ну, вот и пополним его. Заезжай.

Под'ехали к потребилке, построенной из цаманного кирпича. Зеленая железная дверь была заперта. Председатель постучал в окно соседнего дома. Через несколько минут вышла молодая печальная женщина в розовой ситцевой кофте и в черной юбке, не поздоровавшись, молча открыла дверь, молча ждала, когда ей что-то скажут. Не дождавшись, спросила тоном безразличия:

— Кофею аль водки?

— А сама не знаешь, чего людям требуется в стужу? Поллитровки! — сердито сказал председатель.

— Плачу я, — заявил Месяцев, — а закуски значит — никакой?

Женщина отрицательно покачала головой.

— Значит «Крестьянское счастье» сыто и без закусок?

Председатель выразительно взглянул на Месяцева. Это означало: придержи язык за зубами.

В доме Свистунова было холодно и неуютно. Горницу забили на зиму из-за недостатка топлива. Стены в кухне для тепла оклеили в несколько слоев газетами. Во всех трех окнах было больше деревянных дощечек, чем стекла. В переднем углу, вместо икон, висел портрет Карла Маркса.

— А эта «борода» для чего?

— Для кандидатской благонадежности.

— Да ведь образина-то не русская.

— Это не составляет важности: зато есть видимость.

Невзрачная, какая-то пришибленно-запуганная, жена председателя, увидев вошедшего великана, засуетилась, наводя порядок и рассовывая по углами разбросанные вещи. Отозвав мужа к печке, смущенно спросила:

— Чем будем потчевать? Не капустой же . . .

Месяцев услышал.

— Угощать буду я.

— Да как же так? . . .

— Да, да, у меня есть все, чего вы давно не видали.

Он раскрыл чемоданчик, достал колбасу, масло, сыр, белый хлеб. Удивлению, восторгу и зависти хозяев не было конца.

— Садитесь за стол и кушайте досыта . . . Извините, что я вас сажаю, а не вы меня. Уж больно печальна картина вашего «Крестьянского счастья» . . . Рассказать знакомым железнодорожникам — не поверят . . . Да и сам я не поверил бы, еслиб не увидел своими глазами.

Председатель сказал, чтобы жена все же принесла из погреба капусты. Это было все, что могли хозяева предложить гостю взамен его деликатесов. Сели робко за стол.

— Тяжкое время надвигается, Иван Максимыч, уж и теперь во многих домах — ни пылинки муки . . . К весне все вымрем, но на собрании об этом не говори . . . Секретарь райкома не велит распускать паники.

— Выпей-ка, «счастливец», погрейся.

— А сам-то? Давайте уж все вместе согреваться, — подобострастно заулыбался хозяин.

— Мне и без этого жарко. Видишь, сколько сала и мускулов? Да и пальто не с твоим сравнять. Поимей в виду и то, что я приезжий, мне надо речь к народу держать . . . А какой я буду оратор, коль надрызгаюсь?

— Одну-то не страшно . . . Такого и литровка не свалила бы.

Налили в чайные чашки по половинке. Чокнулись. Выпили. Председатель и его жена набросились на привезенные гостинцы.

— И у нас когда-то все это было, Максимыч . . . А может кажется, что было? Может все это нам примерещилось? Как, Настасья, думаешь: приснилась нам прежняя жизнь, или и в самом деле — была когда-то?

Жена заплакала.

— Слабые все мы стали насчет слезы . . . Чуть что — готово: дождик из глаз моросит . . . Ты думаешь, Максимыч, я не заплачу? Сию минуту зареву . . . Видишь, текут . . .

Отощалые председатель и Настасья опьянели после первых глотков.

— Сейчас к народу пойдем. Покажу тебя всем. Без утайки скажу: «Вот настоящий человек с понятием и с сердцем . . . В наше положение входит, жалеет нас» . . .

Месяцев налил еще.

— А может, хватит, Максимыч?

— Пусть тепло по всем суставам пройдет.

После второй чашки председатель запел:

Голова ль ты моя, удалая,
Долго ль буду тебя я носить?

— Смотри на собрании не начни драть глотку, а то в момент из кандидатов вылетишь, — внушала мужу разрумянившаяся, помолодевшая жена.

— Ишь, чем пугает . . . Ну, и вылечу! . . .Этой зимой не только из кандидатов, из живых вылетим с тобою . . .

— Больше не дам. Пойдем в школу, — сказал гость.

— В школу, так в школу, на все согласен, — хорохорился председатель.

Народу было приказано — собраться к часу дня. В неразгороженной на отдельные классы школе за партами сидели мужчины, женщины, дети. С пола несло холодом. От людей пахло потом, махоркой, грязью, бедностью.

Когда вошли председатель и Месяцев, все, как по команде, встали. Ни на одном лице приезжий не заметил радости, спокойствия, довольства. Это была смесь настороженности, равнодушия, отчаяния, злобы, придавленности.

— Товарищи! — начал со слезою в голосе подошедший к столу председатель, — не пугайтесь этого человека: хотя по грузности он похож на старинного барина, но святой на все сто процентов . . . В первый раз вижу такого начальника . . . Кабы вся земная планида состояла из таких людей, можно было бы жить без горя.

На лицах стало появляться другое выражение — почтительности, доверчивости, умиления. Глядя на слезы председателя, заплакали и другие.

— Он сам вам скажет, кто он такой и зачем приехал . . .

Месяцев раза два кашлянул.

— Товарищи! Братцы! Сестрицы! Рассказывать о себе долго не придется . . . До 17 лет был крестьянином. Тогда нас никто не называл счастливыми, а жили — дай Бог всякому . . . Потом стал железнодорожником . . . Сейчас работаю машинистом на поездах дальнего следования . . . Повидал на своем веку много, а вот такого еще

не доводилось . . . Послали к вам хлебушком для государства разжиться . . . Но что с вас взять, горемычные?

С задней парты послышались всхлипывания.

— Какой от вас хлеб, братцы? . . . Разве я слепой . . .

Он остановился. Спазмы в горле мешали ему говорить. Достал из кармана платок, поднес к глазам. Это вызвало слезы всех собравшихся. Пожилая женщина с кротким лицом, сидевшая на передней парте, молитвенно воскликнула:

— Господи! Да не чудо ли такой человек в теперешнее время?

— И вот порешил я, братцы и сестрицы, отдать вам, что привез с собою . . .

Он достал из кармана желтый толстый бумажник.

— Тут 300 рублей. Выберите двух-трех надежных и пусть разделят поровну . . . Потому поровну, что всех вас «Крестьянское счастье» уравняло . . . Не обессудьте, что мало . . . Делать мне у вас нечего . . . Попрошу кого-нибудь — доставить меня до полустанка . . .

Он положил руку на плечо председателя:

— Береги свой народ, товарищ Свистунов. Помни: эти люди ни в чем не виноваты . . . А вы жалейте своего председателя, он такой же, как вы, ничуть не хуже . . .

Свистунов не выдержал и крепко обнял гостя. Теперь в школе не было ни одних сухих глаз. Как сквозь летнюю, прозрачную дождевую тучу иногда просвечивает солнце, так сквозь слезы каждого лица на этом собрании просвечивала радость, что довелось в это тяжелое время злобы, неправды и насилия — встретиться с настоящим, любящим, чистым сердцем . . . Можно ли забыть эту встречу, эти голубые, кроткие глаза великана? Он послан в

этот колхоз с таким неуместным названием, как ангел радости и умиротворения.

Когда он уходил, каждый старался приблизиться к нему, пожать ему руку. Многие обнимали Месяцева и целовали его в губы.

* * *

По возвращении на место службы машинист прежде всего отправился в партийную организацию. Отдавая секретарю кандидатский билет, сказал:

— Возьми! Это не для меня!

Его понизили: из машиниста дальнего следования перевели на маневровые поезда.

— Не страшно, — утешал он жену, — жить можно . . . А самое главное: с совести срезан кандидатский нарост.

1954 г.

БЛАЖЕНСТВО

Меня попросили принять участие в концерте для бойцов и командиров. Руководители концертной группы находились при штабе полка, в восьми километрах от той деревни, где был расквартирован наш батальон.

Со мною вместе собирались выступить две медсестры. Нужно было провести общую репетицию и для этой цели меня вызвали из батальона за два дня до концерта.

Я шел полями, рощами, деревеньками. Я видел, как женщины вязали снопы и переносился мысленно на родину, где теперь тоже шла работа на полях.

По дороге, скрипя колесами, проезжали воза с душистым сеном, напоминая детство, любимую пору сенокоса, песни женщин и девушек.

Когда на душе тяжело и тоскливо, невольно ищешь забвения в прошлом, так как не знаешь, что скрывает непроницаемая завеса будущего.

И как птицы из теплых стран, возвращаясь на родину, отыскивают те самые гнезда, где они родились, выросли и окрепли силами, так и мысли одинокого человека, вырванного из-под родительского крова, постоянно стремятся к невозвратным радостям далекого детства. И хоть знаешь, что прошлое неповторимо и только еще больше подчеркивает безысходность настоящего, — все же не можешь удержаться от соблазна — потонуть с головой в воспоминаниях.

Любуясь березками, я думал: такие же березки растут и у нас.

Травы, цветы, облака, небо, разбитые проселочные дороги, огуречные грядки в огородах, цветущий подсолнух, стада коров и овец на поскотине, — все будило минувшие далекие радости. Хотелось повторять без конца:

Ой, ты Русь моя, родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу!

Я был в военной форме, но во мне билось сердце, жаждущее мира, домашнего уюта, сердечной ласки близких и родных.

Левое мое плечо оттягивал противогаз, правое — винтовка. За спиной была тяжелая походная сумка с вещами и патронами.

С какой бы радостью я бросил все это и, надев русскую рубашку, побродил босиком по теплым родным дорогам!

Война превратила меня в раба, в повинующуюся машину, из которой, к сожалению или к счастью, не было вынуто сердце, способное мечтать, припоминать и сжиматься от тоски. Но сейчас я все-таки был счастлив, как птица, которую выпустили из клетки на волю.

Очутиться наедине с самим собой после бесконечных окриков начальства, увидеть небо и деревья не глазами затурканного ополченца, а человека, для которого природа всегда была храмом успокоения, — только ради этого можно было идти без конца. Я не спешил, желая продлить удовольствие.

Репетиция происходила в сарае, земляной пол которого был застлан соломой. Заслышав пение, игру на баяне

и струнный оркестр, дети и женщины сбежались поглазеть на артистов, ничем не отличавшихся по внешнему виду от остальной ополченской массы.

Руководитель концертной группы разрешил мне ночевать в крестьянской избе. Женщины указали на уютный домик в конце деревни, в котором жила небольшая семья. Меня провожала целая ватага детей.

— Бабушка Марфа, пусти этого товарища переночевать, — обратились они к старухе, ввалившись в сени, — он тебе песню споет!

— Мне не жалко, пускай ночует, ответила хозяйка, приподымая голову над ведром, в котором она готовила пойло для визжавшего в закуте поросенка.

Я снял сумку и винтовку, боясь расстаться (по внушению начальства) с противогазом.

Скоро в избу вошел старик, похожий на Николая Угодника, каким его изображают на иконах, только с улыбающимся добродушным лицом.

— Бог гостя послал, — сказала бабка Марфа.

— Вот и хорошо, —откликнулся старик, подавая мне теплую, шероховатую от многолетних трудов руку. — Сейчас ужинать будем.

С улицы вернулись дочь невеста и сноха с семилетним мальчиком. За столом мне подкладывали хлеба, подвигали миску с забеленым супом, из которой ела вся семья. Дочь сбегала на огород и принесла свежих, пахучих огурцов. Старуха достала из погреба холодного молока.

— Спать с тобой завалимся на чердаке, — весело сказал старик.

— А может холодно будет? — спросила старуха.

— А сено и тулупы на что? Там, по крайности, дух легкий и мухи не гудят.

Сноха дала мне подушку и простыню. Мы взобрались по узенькой лесенке, приставленной к стене, — сначала хозяин, за ним я. На чердаке было темно, пахло кожами и лекарственными травами.

— Ползи за мной, — ласково говорил старик, — постель нашел? Так. Расстилай простынку на дерюгу, одевайся тулупом и спи в свое удовольствие хоть целые сутки. Я встану чуть свет, за грибами схожу. Небось, давно не ел?

— До грибов ли, дедушка, в такое время?

— Погоди, завтра покушаешь, не так заговоришь . . . А сейчас вот о чем скажи без утайки: партейный ты, иль, как все?

— Как все, дедушка.

— Вот и хорошо. Стало быть и в Бога веришь?

— Верю.

— Еще лучше. Значит, по христианскому завету помолимся перед сном, а тогда что твоей душеньке желательно: хочешь — спи, хочешь — думу думай . . . Теперь ведь без думы никак нельзя: сама в голову лезет . . . Ты как привык молиться, — про себя, иль — вслух?

— Про себя.

— Ну, молись, я тебе не буду мешать.

Я слышал, как старик стал на колени. Он долго шептал свою молитву, часто кланялся, о чем можно было догадаться по шуршанию сена, когда он приникал головою к постели. Молитва сопровождалась частыми вздохами. Под конец послышались всхлипывания. Закончил он молитву вслух: «Господи, спаси их среди крови и огня, защити их своим кровом любви и милосердия» . . .

Старику хотелось поделиться своими радостями и печалями и он стал рассказывать о поездках в Москву, о

двух, взятых на войну сыновьях — старшем, трактористе и младшем, окончившем педтехникум, о своей многолетней жизни на хуторе, откуда выгнали большевики. В тоне его голоса слышалась покорность, примиренность с неизбежностью.

— А горе терпит русский народ за то, что от Бога отступился.

Я пытался издавать какие-то звуки, чтобы не обидеть старика, и не мог . . . Блаженство — вот что завладело всем моим существом. Я лежал босой, сытый, в тепле, рядом с верующим человеком, который по отечески делился со мной мыслями, чувствами, жизненным опытом.

— Да, — сквозь сон выговаривал я, а спокойная речь журчала и журчала, как убаюкивающая музыка. Вот так же в детстве я засыпал под сказки отца. Где грань перехода от полузабытья к глубокому сну?

Старик вероятно долго говорил, хотя может-быть и знал, что я сплю. Ему было важно не то, чтоб кто-то слушал, а то, что на душе делается легче, когда поведаешь о себе хотя бы спящему.

Ночью над деревней пролетали немецкие самолеты. Под гудение пропеллеров снилось детство, шум веялки на гумне, золотая заволжская пшеница.

Утром меня разбудили завтракать. Открыв глаза, увидел целый пучок солнечных нитей, проникших сквозь ветхую кровлю. В утреннем золоте мирно кружились бесчисленные пылинки, казавшиеся живыми.

— Эх, как долго проспал, — испугался я, вспомнив в этот момент всю нелепость, весь ужас войны.

На завтрак были поданы в большой сковороде жареные в сметане белые грибы.

— Сказка, сказал я с восторгом и грустью.

— Расскажешь сказку? — настороженно радостно спросил хозяйский внук, умный мальчик с шустрыми черными глазами.

— А ты хочешь послушать?

— Да.

— Ну, хорошо, после завтрака я расскажу тебе, но все-таки, мой милый, сказки жизни интереснее всех сказок, выдуманных людьми.

1945 г.

ЛАНДЫШИ

Вдоль села протекает речка. Один берег у нее крутой, высокий. На другом растут ветла, склоняясь густыми ветвями до самой воды. За речкой ровные луга. Вдали темнеет лес. Еще дальше — горы. Расстояние окрашивает их по вечерам в сизый цвет. Весною, по утрам, они переливаются всеми красками.

Из села видно, как быстро бегут поезда под уклон, на восток, и как медленно ползут в гору, к станции Богатое, где высится серая башня элеватора.

Темные клубы паровозного дыма постепенно светлея, превращаются в длинный шлейф. Ветер рвет его в клочья. Дымные облачка плывут в сторону леса и тают на ветвях деревьев. Манящий железный гул докатывается до села Журавлева.

Дети любили собираться на обрывистом берегу Зеркалки и смотреть на поезда. Сколько их пробежит за день! Прислушиваясь к вздохам паровоза и шуму колес, мальчики и девочки с грустью мечтали о путешествиях.

— В Ташкент бы с'ездить: там урюк и виноград.

— А по моему лучше в Москву, там метро.

Однажды белокурая, худенькая Шура Кузнецова, прозванная артисткой за веселый нрав, изобретательность и

безобидные шутки, выйдя вечером на берег, похвалилась перед собравшимися детьми:

— 22-го июня еду —к дяде в Москву!

Все позавидовали ей.

— Шура, миленькая, купи мне географию для пятого класса.

— А мне футбольный мяч.

— А мне шелковый шарф.

— Давайте побольше денег, закуплю всю Москву, — смеялась Шура.

Вечером 21-го она уложила в деревянный облезлый сундучок свои наряды и гостинцы для дяди: десяток печеных яиц, лепешки из темной муки, пирожки со щавелем.

Но в полдень 22-го июня радио сообщило о войне с Германией. Поездка в Москву была отложена.

Почти в каждый дом свалилось горе: на войну угоняли отцов и братьев. Крики, стоны и причитания слышались всюду: на дворах, в избах, на улице, на огородах.

Когда мобилизованных везли на колхозных подводах к станции, рыдало все село. Пролетавшие грачи и вороны, напуганные воплями, недоуменно косились, торопясь найти где-нибудь тихое местечко.

Поездов стало ходить больше. Все с нетерпением ждали новостей. Дети, как и взрослые, жадно ловили каждый слух о войне, а, собираясь на берегу реки, начинали спорить о том, чья армия сильнее: русская или немецкая.

Мужчин в селе с каждым днем становилось меньше. Сначала взяли молодых, потом на фронт погнали пятидесятилетних. В газетах печатались обращения к молодежи — идти добровольно на защиту родины. А слухи о войне были один печальнее другого. Русская армия отступала на всех фронтах. От отцов и братьев с позиций не было никаких вестей.

— Господи! Что же это такое? Неужто все перебиты? — удивлялся народ.

— Скоро и до вас доберутся, — пугали старшие детей, — мальчишек погонят на фронт, а девчонок в лазареты — ухаживать за ранеными.

Детей такие угрозы только радовали: ведь каждому так хочется поскорее стать взрослым! А раз тебя мобилизуют на войну, то какой же ты ребенок?

Каждый день в правление колхоза и в сельсовет присылали приказы — срочно сдавать хлеб, мясо и другие продукты.

— Да где же мы возьмем? — сокрушались женщины.

Зимой в газетах писали о наступлении и победах, а с фронта опять не было писем. Поезда в сторону Ташкента везли тысячи раненых.

Но вот настала весна. Много земли в колхозе осталось незасеянной: лошадей и тракторы угнали на фронт, часть семян взяли на питание красной армии.

— Пашите на коровах, — приказывало начальство, но и коров осталось очень мало.

Тихо и печально стало в селе: ни блеянья овец, ни мычанья телят . . . О песнях девушек не было и помину. Уныние читалось на каждом лице, как будто в каждом доме лежал покойник.

А погода с каждым днем становилась все теплее. Реки входили в берега. На лугах запестрели цветы, лес оделся нежной листвой, в садах зацвели яблони.

И опять, как всегда в весеннюю и летнюю пору, дети в свободные минуты собирались на обрывистом берегу Зеркалки и смотрели в ту сторону, где пробегали поезда . . .

В озерах весело квакали лягушки, в ветлах на другом берегу, щелкали соловьи, кукушка в лесу грустно отсчитывала года, горлинка повторяла свое однообразное ворко-

ванье, похожее на «тпру». В природе царила радость, все благоухало. Заря сходилась с зарей, а в душах людей была темная ночь, сердце сжимал камень тоски и каждый думал:

— Когда же этому конец?

От одного к другому передавался слух, что немцы снова перешли в наступление, хотя в газетах попрежнему писалось о том, что «противник несет большие потери» . . .

Поездов с ранеными стало больше, а это означало, что действительно, дела русских плохи.

Однажды вечером, когда дети смотрели на медленно ползущий в гору длинный товарный поезд, Шура предложила:

— Пойдемте завтра на станцию, дождемся санитарного поезда и спросим в вагонные окошки, нет ли среди раненых кого-нибудь из Журавлева.

— А если окошки будут закрыты?

— Тогда спросим у проводника.

— Так он тебе и скажет, — усумнились мальчики, но девочки поддержали Шуру и решили завтра в полдень отправиться на станцию. Матери не останавливали девочек:

— Сходите, может и правда чего-нибудь узнаете.

Когда девочки были уже за мостом, их догнали мальчики. Кое-кто из детей захватил с собой хлеба. Проходя лугами, рвали щавель.

В лесу каждый собрал по букетику ландышей. Пройдя шесть километров, проголодались. Те, у которых был хлеб, поделились с товарищами.

На станции было безлюдно. Желтая краска наружных стен вокзала во многих местах облупилась. Перрон был не подметен. Ветер разносил пыль, прошлогодние сухие листья. На тополях, в станционном саду каркали грачи, наводя тоску.

Вскоре прибыл воинский поезд. Он шел на запад, в сторону фронта. Половина товарных вагонов была занята тощими лошадьми. Из других выглядывали мобилизованные. Какие у них были печальные лица! А как все были плохо одеты!

— Может-быть это нищие? — спросила маленькая черноглазая Тоня.

— Что ты, ослепла что ль? Не видишь красные звезды на фуражках? — шикнули на Тоню мальчики.

— Дяденька, хотите цветочков? — спросила Шура.

— Куда ж мне их? Домой несите . . . Зачем на станцию пришли? Или живете поблизости?

— Нет, мы, дяденька дальние . . . Пришли про своих узнать: тут много раненых провозят. У нас отцы и братья на войне.

— Эх, видно всем одинаковая доля . . .

От дежурного по станции дети узнали, что санитарный поезд с фронта будет поздно вечером.

— Эй,вы, босая команда! Что будем делать, — ждать или уходить? — спросила Шура, — если согласны ждать, то домой придется топать ночью.

— Ну, и что ж? Ночи вон какие светлые . . . Если б один или два человека, а то целый взвод, бояться нечего, — храбрились мальчики.

Девочки подошли к крану водокачки и освежили ландыши.

— Дяденька, скоро придет поезд с ранеными? — спросила Шура у сторожа.

— Вышел с Грачевки, через час должен быть тут.

Тогда все стали смотреть на запад, где небо полыхало закатными красками. Час показался вечностью. Но вот загудела земля, тонко запели рельсы. Поезда еще не было

видно, но и воздух, и светлое небо, и деревья как будто шептали . . .

— Идет . . . Идет . . .

— Господи, чтобы узнать о ком-нибудь! — шептала Шура.

Когда поезд остановился, из некоторых вагонов вышли санитары с повязками на руках. Дети побежали вдоль состава в поисках открытых окон.

— Что вам нужно? — спросил толстый командир с добродушным лицом.

— Дяденька, в этом поезде раненые?

— Да.

— Журавлевские есть?

— Не могу знать.

— Шура! — крикнула убежавшая вперед Тоня, — иди сюда, выглядывают из окошка!

Шура побежала на зов. У вагона с тремя открытыми окнами собрались все дети.

— Журавлевских нет?

— Спрашивали уж . . . Есть тамбовские, саратовские, пензенские, архангельские, сибирские, а наших ни одного . . . Мы всех несчастнее, — горевали дети.

Из окон выглядывали раненые. Один был очень похож на отца Шуры: такие же русые волосы, узкое лицо и голубые глаза, только очень бледный.

— Дяденька, хотите ландышей? . . . Очень хорошо пахнут.

Раненый протянул руку.

— А что ж я тебе дам, девочка? . . . Нет у меня ничего . . . Были ноги и тех теперь нет . . .

— Мне . . . ни . . . че . . . го не надо . . ., — заплакала Шура.

— Как тебя зовут? — спросил раненый.

— Шуркой.

— Вон что . . . У меня дочка тоже Шура.

— А вас, дяденька, как зовут?

— Михаилом Степановичем.

— Мой отец тоже Михаил . . . Только Фролович . . . Он был совсем больной, а ему сказали: «Ничего, повоюешь» . . . Уж полгода нет писем.

— Может-быть в плен попал. Кончится война, придет домой, вечером в окошечко — тук, тук, тук . . . Выбежит мать, выбежишь ты . . . Вот будет радость . . .

— А почему вас домой не отпускают?

— В лазарет везут, подлечиться.

— А ноги сделают?

— Ну, где уж там . . .

— Дяденька, вот вам еще цветочки . . . Кому-нибудь дадите . . . У нас их в лесу тьма тьмущая, — сказал Шура, почувствовав нежность к раненому, как к родному отцу.

Все, у кого были пучочки ландышей, тянулись к открытым окнам, вставали на цыпочки, подпрыгивали. Раненые с грустными, благодарными лицами смотрели на детей.

Вот один кудрявый темноволосый паренек, с перевязкой на левом глазу, приник к цветам, тяжело вздохнул, сказал: «Господи» и заплакал одним глазом. Слезы капали на цветы, как дождевые капли. Детям стало жалко раненого.

— Не плачьте, товарищ, заживет, — сказала, как взрослая, Шура.

— Знамо заживет! — зашумели другие. А паренек грустно кивал головой, не в силах сказать ни слова.

Дали сигнал к отправлению поезда.

— Прощайте, дети! — крикнул Михаил Степанович, — желаю вам поскорее увидеться со своими отцами и братьями . .. Только со здоровыми, а не ранеными . . . Не торопитесь расти, а то и вас заберут на войну . . . Невеселое это дело . . .

Пока поезд шел медленно, дети бежали вдоль состава и махали руками. Когда последний вагон скрылся в лесу за поворотом, малыши остановились.

Т-та-та-та-та, та-та-та-та, — выстукивали, удаляясь колеса.

— Наших нет, — вздохнула Шура.

— Нет, — как эхо откликнулись все дети. Еще раз помахали в ту сторону, куда ушел поезд. И как-то сразу после этого почувствовали усталость.

Взявшись под руки, пошли домой. В лесу дорога была узкой, и шедшие с краю, задевали за корни деревьев и спотыкались.

— Смотрите, уже светает . . . На лугах подкрепимся щавельком, — подбодряла остальных Шура.

В прохладной лощине запахло ландышами.

— Ой, сколько их тут! Прямо видимо-невидимо!

Шура как будто впервые увидела такое множество цветов. Свет зари проникал сквозь прогалины между деревьями. На белые колокольчики нижней части ландышей и на еще нераспустившиеся желтовато-зеленые верхушечки, похожие на узелки, падал розоватый свет раннего майского утра.

— Они святые! — сказала Шура. Остальные девочки молча глядели на подругу. Сосало под ложечкой, от голода кружилась голова, хотелось лечь прямо вот здесь, среди душистых цветов, уснуть крепко-крепко и проснуться только тогда, когда кончится война.

— Девочки, согласны каждый день ходить на станцию и носить раненым ландыши, покуда цветут?

Все в знак согласия кивнули головой. Произнести слово не хватало сил.

Встречая восход солнца, дружнее запели птицы. Звенели переливы иволги, печально куковала кукушка, заливались соловьи, малиновки, дрозды, синицы.

Прозрачные от усталости, качающиеся, дети вышли на опушку, где цвели кусты боярышника, бересклета, крушины. Показался краешек солнца. Золотисто-оранжевые нити лучей протянулись над зеленой травой, над желтыми, малиновыми, белыми цветами. Заискрилась роса. Заглушая музыку пчел, квакали в озерах лягушки.

— Село! — закричали все с такой радостью, с какой моряки встречают землю после длительной разлуки с нею.

Из печных труб шел сиреневый дым. По родственному кое-где мычали коровы, кукурекали петухи.

— Не раскисайте! — тормошила всех Шура, — не забудьте про свое согласие: завтра понесем раненым ландыши.

— А на фронте лягушки не боятся квакать? — спросила маленькая черноглазая Тоня. Это всех рассмешило и подбодрило.

Солнечный круг отделился от земли и, уменьшаясь, стал подниматься в бледную синеву неба, как вырвавшийся из неосторожных детских рук яркий игрушечный шар, купленный на ярмарке.

1943 г.

ПОСТ У КОЛОДЦА

Однажды, когда я был в «Московском ополчении», мне пришлось стоять почти всю ночь на часах у колодца, в небольшой прифронтовой деревушке, неподалеку от железнодорожной станции.

Погода была ужасная: дул ветер, лил дождь, небо закрывали черные осенние тучи.

Я кутался в брезентовый квадратный плащ, который имелся у каждого советского бойца и служил для него то, как плащ, то как палатка. Он так и назывался: «Плащ-палатка». Намоченный дождем он топорщился, делался жестким, негнущимся, гремящим.

С каким нетерпением и тоской я ждал утра! У меня закоченели руки и ноги. Теплый угол, где можно было бы погреться, казался недосягаемым счастьем.

Чтобы скоротать время, я перечитал все стихи и молитвы, какие знал. Я говорил себе, что мне, как писателю, нужно испытать все лишения, но это не спасало от холода.

Три раза принимались петь петухи. Полночное кукуреканье наводило на меня тоску, напоминая всякий раз о страшной ночи, когда апостол Петр отрекся от Божественного Учителя.

Дождь лил, не прекращаясь ни на минуту, булькая в

лужах и звеня о мой плащ, под которым я прятал винтовку и противогаз.

Ветер пронзительно свистел в колодезном журавле, скрипела дужка железной бадьи, которая качалась, как маятник над гнилым срубом колодца.

Зачем я здесь стоял?

Командование боялось, что шпионы и диверсанты могут отравить воду и оберегало каждый колодец прифронтовой полосы.

— Когда же это кончится? — думал я с тоскою, хлюпая по грязи, потому что стоять на одном месте в промозглой черноте ночи было невыносимо. Никаких звуков не слышал я, кроме шума дождя, завывания ветра и скрипения качающейся бадьи.

Я мог бы укрыться под каким-нибудь навесом, но внутренний голос говорил: «Ты поставлен на часы, значит мужественно и честно должен отстоять положенное тебе время, как бы это ни было мучительно» . . .

И я терпел. Я жадно ждал, когда начнет светать. Вот в хлеву, напротив колодца, замычала корова. И мне стало уже не так тоскливо.

Наконец, дождь прекратился. Вскоре я услышал, как шумно хлопая крыльями, слетали с нашести куры. Через некоторое время после этого возле колодца очутилась наседка с цыплятами. Цыплята были маленькие, поздние.

— Как-то перезимуете? — спрашивал я. Их жалобный писк ободрял меня: это была жизнь, это означало наступление нового дня.

В деревнях встают рано. Я видел, как зажгли свет в избе. Потом до меня донесся из хлева звон молочных струй в подойнике, затем шуршание молочной пены. Все

это радовало душу, напоминая детство, родную деревню, хлопоты матери.

Женщина вернулась в избу и затопила печку. Дрова долго не разгорались. Приходилось несколько раз щепать лучину. Наконец, вся внутренность большой русской печи наполнилась пламенем и хозяйка сунула туда две сковороды.

— Хочет печь блины, — решил я и сразу почувствовал сильный голод.

Я не обманулся в своих предположениях: женщина насыпала в большую глиняную миску муки, налила молока, помешала . . .

Шипение на сковородах, вид белых блинов, ловко снимаемых руками и укладываемых на стол, покрытый чем-то голубым, — все это напомнило мне блины, которые еще в пору моего детства много раз пекла мать, а позже сестры и жены братьев.

Я стоял лицом к печке. Стало уже совсем светло.

Проснулись дети хозяйки, — мальчик и девочка. Она дала им по блину, потом еще и еще. Нечаянно оглянувшись на колодец, печально покачала головой. Я почему-то подумал, что этим было выражено сочувствие мне. Мать о чем-то поговорила с маленькой дочкой.

— У колодца! — донеслось до меня.

Звякнула щеколда двери. Кто-то вышел из дому.

В больших ботинках, на босу ногу, ничем не прикрывшись, ко мне подбежала худенькая, светловолосая девочка и, протягивая теплый блин, ласково сказала:

— На, дяденька.

На сердце сразу посветлело. Этот гостинец вернул меня к далекому мирному времени, к радостям детства, к благоденствию богобоязненной деревни, к широким полям Заволжья.

Какой нелепостью было все настоящее: и эта война, и мое ополченство и ненужное стояние на часах у колодца.

— Погоди, — сказал я, шаря по карманам. При мне были деньги, но я знал, что их у меня не возьмут, да и сам я понимал, что нельзя каждое движение души расценивать на деньги. К счастью, в кармане стеганой куртки я нашел большой, обгрызенный со всех сторон, кусок сахару.

— Скажи спасибо маме, — попросил я девочку, отдавая ей сахар.

Она взяла, не отказываясь: сахар в деревне был редкостью.

Я стал понемногу отщипывать блин, чтобы продлить удовольствие. Он был толстый, подгорелый, похожий на лепешку, совсем не такой, какие когда-то пекла мать, но в эти минуты казался мне вершиной лакомства.

Женщина, приоткрыв окно, сказала:

— Спасибо, товарищ, за сахар . . . Дай Бог, чтоб не убили на войне . . .

— Дай Бог и вам всего хорошего . . . Спасибо за блин.

— Кушайте на здоровье, товарищ.

1950 г.

НОВЫЕ КРЫШИ

Наша часть стояла в Терехове, неподалеку от истоков Днепра, откуда открывался широкий вид на деревни, холмы, небольшие рощицы, колокольни, заводские трубы и линию железной дороги.

Каждый поселок в окрестностях был занят ополченцами, прибывшими сюда пешком из Москвы.

До нас в Терехове целый месяц стоял артиллерийский сибирский полк. Сибиряки изрыли всю землю вокруг деревни, настроив окопов, блиндажей, землянок. Луга по обе стороны Днепра были минированы. Вдоль берега по эту сторону тянулись в три ряда проволочные заграждения.

Так как местность вокруг Терехова безлесная, а на постройку военных укреплений требовалось много бревен для перекрытий, то командование отдало распоряжение — снести все крестьянские амбары и сараи. От некоторых изб отламывались даже сени. Такие разрушения придали деревне сиротливый, общипанный вид. Дырявые раскрытые крыши дополняли картину убожества.

Нас разместили по окопам и землянкам, вырытым в льняном поле. Добротный высокий лен с крупными головками был убран, связан в снопы и составлен в «бабки». Мы безжалостно растаскивали их на подстилки в наши сырые, тесные и темные убежища.

Ополченцы из крестьян с сожалением вздыхали:

— Сколько гибнет добра.

Началась молотьба ржи. Откуда-то была привезена молотилка и все население деревни зашумело и засуетилось на гумне. Свежую солому вечером распределяли по дворам. Ее носили на себе большими охапками взрослые и дети. Возле каждой избы теперь золотились душистые копны. Для малышей появилась забава: они кувыркались в соломе с утра до вечера, вовлекая в свои игры кошек и собак.

Но вот в деревню на подсобные фронтовые работы пригнали несколько тысяч крестьян из Саратовской области. Им не полагалось казенного обмундирования, а собственные одежда и обувь были ветхие, дырявые, залатанные. У многих из этих людей, оторванных от земли в разгар полевых работ, был несчастный вид. Несчастье читалось в их тоскливых взглядах, фигурах, во всем облике. Никто из них не знал, зачем они здесь очутились. Кормили их плохо и, раздобыв картошки, они варили ее в ведрах и в котелках на открытом воздухе. Там и сям пылали костры, возле которых толпились голодные и оборванные люди. Безделье удлиняло время и углубляло тоску.

— Хлеб на своих полях не успели убрать, — жаловались они жителям Терехова.

Несчастнее всех казался аккуратный старичок небольшого роста с русой бородкой и светло-голубыми глазами. Его одежда была так же бедна и ветха, как и на всех остальных, но она была такой чистой и так хорошо сидела на нем, что казалась праздничной.

По облику этого человека можно было скорее принять за художника. Он мало разговаривал с остальными,

не спешил к котелку, когда картошка была готова, и подолгу смотрел в ту сторону, где пробегали поезда.

В его взгляде было много скорби, тоски по родным местам и непонимания происходящего.

Однажды, когда возле группы саратовцев собралось много местных жителей, старичок спросил:

— Почему вы живете так некрасиво?

— А мы уж привыкли к этому, — с горькими усмешками отвечали тереховцы.

— Плохая привычка . . . Ребята, давайте им покроем избы.

— И правда, давайте, — радостно зашумели саратовцы.

В тот же день закипела работа. На каждую избу забралось по два, по три человека. Они принимали охапки соломы, которую им подавали снизу. Со знанием дела и с любовью трудились крестьяне. Сейчас в их глазах засветились огоньки творчества, на щеках загорелся румянец воодушевления. Они не просто валили солому на скелет кровлей, нет, они подгоняли соломинку к соломинке, чтобы ни ветры, ни дожди не могли разрушить их работы.

К вечеру большая деревня, расположенная на холмах, казалась обновленной, принарядившейся. Заходившее солнце заливало праздничным светом новые крыши.

После работы тереховцы решили угостить саратовцев. В каждой избе за столом сидело много народу. Гости и хозяева были радостно возбуждены и разговаривали, как старые друзья и родственники. На лицах не читалось уныния. Слышались шутки, раздавался смех. Люди забыли о тоске и близости фронта. И даже аккуратный, задумчивый старичок казался не таким печальным, как

всегда. В том доме, где он находился, кто-то предложил спеть песню.

— Тимоха, начинай нашу, волжскую! — зашумели мужики. И молодой широкоплечий парень с добродушным лицом затянул чистым тенором:

Как на дубе, на высоком,
Над великою рекой,
Одинокий думу думал
Сокол ясный, молодой.

Парня поддержали товарищи и полилась широкая, как Волга, песня:

Вот и взвился быстрокрылый,
Он в чужи края летел,
На родимую сторонку
Он в последний раз глядел.

Женщины плакали, утирая глаза фартуками и концами головных платков.

1943 г.

ПОСЛЕДНИЙ РУБЛЬ

Это было в большом торговом селе Ровном, на Волге, в 1911 году, в августе месяце.

Я приехал за 600 верст от дома на вступительные экзамены в учительскую семинарию.

Чтобы получить стипендию, нужно было сдать экзамены на «круглые пятерки». В первый класс в том году принимали 25 человек, а желающих поступить с'ехалось больше четырех сот. Многие держали себя очень развязно, как взрослые. У некоторых пробивались усики. Одеты они были по городскому: рубашка с откладным воротничком, галстук, модные ботинки. Кое-кто был даже в шляпе.

Мне почему-то думалось, что все эти молодые люди будут приняты в первую очередь. Каким жалким казался я самому себе на фоне самоуверенных щеголей: одет в косоворотку, подпоясанную голубым монастырским поясом, на котором выткан 90-й псалом. Сапоги слегка стоптаны, короткий пиджак слинял, порыжел.

— На таких замухрышек, как я, и глядеть никто из учителей не будет.

Надежда была только на Бога. Несколько дней до экзаменов я провел в молитве. С утра уходил в луга, за село и любовался широкой гладью Волги, белыми пассажирскими пароходами и буксирами, тянувшими караваны барж.

Прислушиваясь к тревожному предосеннему крику грачей, я уносился мысленно на родину и молился. Моя молитва состояла из просьб и обетов. Я просил Бога просветить мой разум и помочь мне выдержать экзамен на «круглые пятерки». За это я обещал Богу быть добрым учителем и никогда никого не обижать ни словом, ни делом.

И вот наступили экзамены. Мое сочинение было признано одним из лучших. На отлично была сдана и письменная арифметика. Как-то выдержу устные? Первым был экзамен по закону Божию. Законоучитель, отец Степан Сухов, понравился с первого взгляда: в голубых глазах доброта, золотисто-рыжие, с проседью, волосы вьются по плечам. В голосе мягкость, теплота. Задавая вопросы, шутит, ободряет. Обратил внимание на мой поясок, попросил распоясаться, показать.

— О, «Живый в помощи»? . . . Подпоясан-то псалмом, а вот знаешь ли его?

— Знаю.

— Прочитай.

Я не читал, а декламировал — с церковными интонациями, с легким пафосом. Мне было поставлено в журнале пять с плюсом. Наши души как-то сразу сблизились. Как ассистент, священник присутствовал и на других экзаменах: по устному русскому, по истории, географии, по естествознанию. Не было его только на устной математике. Со мною он встречался уже, как с приятелем, а однажды, выходя из экзаменационной комнаты, взял под руку и стал расспрашивать, откуда я, из какой семьи, почему хочу быть учителем?

— Учитель приносит больше всех пользы народу, — искренно признался я.

Экзамены заняли целую неделю. О результатах должны были об'явить в воскресенье к вечеру.

Утром я был в церкви, потом опять пошел в луга. В этот день решалась моя судьба. Когда уезжал из дому, отец и мать сказали:

— Сдашь на стипендию, будешь учиться, а не сдашь, приезжай домой.

А «домой» — это, значит, прощай ученье, будешь перенимать от братьев малярное и кровельное ремесло.

Что-то будет? Сердце замирало от страха. В глазах темнело, когда представлял, как приеду домой опозоренным и скажу: «Провалился» . . . Но ведь около четырех сот человек так или иначе должны провалиться. Чем они хуже меня?

На семинарский двор шел, как закованный в кандалы, думая о том, как отравляют жизнь людям всякие экзамены. В эти минуты я завидовал земледельцам, пастухам, торговцам, которым не приходится ломать голову над науками.

В семинарских воротах толчея. Нарядный Аркадий Бушев показывает на меня пальцем:

— Вот таким михрюткам везет: на стипендию принят . . .

Неужели это он обо мне? . .. Подбегаю к списку, протискиваюсь вперед, гляжу, читаю сверху вниз и снизу вверх — моей фамилии нет! Ноги подкашиваются. Сейчас упаду. Из груди вырывается стон:

— Чего ж он смеялся надо мной . . . Не принят . . .

— А это что?

Несколько пальцев тянутся ко второй строке:

— Ослеп что ли?

Верно: на первом месте Степан Муравьев, на вто-

ром я. Первые семь человек в списке зачислены на стипендию.

Что делается с сердцем? Оно готово вырваться из груди от радости. Задыхаясь от счастья, выбираюсь из толпы и бегу... Куда?... В лугах, на берегу Волги, я просил Бога о великой милости, там и поблагодарю Его.

Вечереет. Сверху идет розовый пароход с красной полосой на трубе — «Самолетский». Как отчетливо стучат по воде плицы колес. В такт им стучит сердце.

Велика была моя тревога в продолжение недели. Но моя теперешняя радость широка и глубока, как Волга. Пробравшись через кусты тальника, выбегаю на песчаную отмель. Пароход против меня. Машу белым платком, а мне отвечают сотни платков.

— Какие они добрые! — думаю я. Хочется им крикнуть о своем счастьи, но все равно не услышат.

— Господи, — громко говорю я, глядя на небо, на реку, на луга, — спасибо Тебе!

Солнце склоняется к синим горам правого берега, надо идти домой. Теперь скоро перейду в семинарское общежитие, недолго осталось жить у толстой доброй немки Гильды Карловны, которая каждый день угощает меня варениками.

Вот и село. Площадь на берегу Волги семинаристы прозвали «Брехаловкой». Это излюбленное место для вечерних прогулок местной интеллигенции. Медленно фланируют парочки.

У самого обрыва, облокотившись на костыль, стоит бедный, безродный инвалид. Возле правой деревянной ноги ветхий картуз для подаяний. Чем порадовать бедняка? От всех моих капиталов остался один серебрянный рубль. Как и на что буду жить завтра и после завтра, сейчас не хочется думать. Душу захватило желание — доставить

радость человеку. Подбегаю к инвалиду и бросаю в картуз рубль. Он со звоном падает на медную мелочь.

Нищий пугается:

— Молодой человек, вы кажется ошиблись . . .

— Нет, нет, это вам от меня . . . Я дал обет Богу . . .

— Спасибо, молодой человек, Бог не оставит вас своими милостями.

Теперь в материальном отношении этот нищий был богаче меня. У меня были пустые карманы, но как была полна, как богата душа. Мне хотелось громко кричать гуляющей толпе, что я самый счастливый в мире!

1950 г.

ЗОЛОТАЯ ДУША

Я вошел в крайнюю избу деревни спросить, не продадут ли молока. Высокая худая старуха с печальным лицом собирала на стол.

— Зовите парня, — сказала она, ни к кому не обращаясь.

У порога, на чурбаке сидела пожилая женщина и вертела ручной жернов, размалывая рожь. У окошечка, возле кровати, примостились две миловидные девушки. У обеих были большие карие глаза, густые черные брови и приятный матовый румянец на щеках. Одна что-то шила из старых крашеных лоскутков, другая вязала широкие кружева из белых катушечных ниток.

Молодая женщина, сидя на деревянной кровати, качала люльку, накрытую розовым пологом, сделанным из старой юбки. Кто-то, прикрытый тряпьем, стонал на печке.

Изба была обставлена с обычной бедностью для этих мест: ни стульев, ни этажерки, ни зеркала, на подоконниках ни одного горшка с цветами. Стены голые. И только на двух темных иконах в переднем углу маленькие круглые веера из синих тетрадочных обложек.

Но в избе чисто. Пол вымыт и выскоблен до золотистой желтизны. По углам ни одной паутинки. Осеннее полуденное солнце заливает внутренность жилья. Отражение окна лежит на полу, и в этом солнечном четырехуголь-

нике блаженствует черная кошка, кормящая шестерых котят.

— Все роздала, родимый, — сказала старуха, скорбно опустив руки, — коль не погребуешь нашей едой, садись.

Я поблагодарил хозяйку и прошел к столу. Девушка, вязавшая кружева, выбежала из избы и закричала:

— Микита! Обедать! Микита!

Старуха положила на стол полкоровая черного хлеба и пошла к печке доставать «капусту» (так в этих краях называют щи).

Вскоре посланная за «парнем» вернулась вместе с ним. Это был русоволосый мальчик лет восьми, со вздернутым носом и шустрыми серыми глазами. Черная косоворотка, подпоясная ремешком, делала его старше своих лет.

— Где пропадаешь? — с укором спросила старуха.

— Пропадаешь, — обижено протянул мальчик, — сначала узнай, а потом говори . . .

Через минуту он добавил:

— Корзинку чиню в сарае. Не нынче-завтра картошку копать, вот и пригодится.

— А я думала, ты с ребятами по улице бегаешь . . .

— Побегаешь с вами! . .. То — не сделано, другое — разломано . . .

Серьезный тон, каким говорил малыш, глубокомысленное выражение лица и этот рост напомнили мне некрасовского «Мужичка с ноготок», и я невольно улыбнулся.

— Это кто же, хозяин что ли? — спросил я, указывая на мальчика.

— Весь наш мужичий душок, — вздохнула старуха, — один — раз'единый, на развод остался, а было шестеро.

— Где же остальные?

— Там, где все, на погибели . . . Три сына, брат, да

внук . . . Как мобилизовали, так словно в воду канули: ни слуху, ни духу . . . Вот теперь одни и кукуем . . .

Старуха поднесла к глазам фартук.

— Чего ж плакать-то? У нас у одних что ли? . . . У всех такая картина, — громко, дрожащим голосом, со спазмами в горле сказал маленький хозяин. И поглядев на женщин, деловито заметил:

— Ну, что ж, обедать, так обедать.

Все, кроме стонущей на печке души, сели за стол. Ели молча и сосредоточенно, как бы выполняя серьезный долг.

Никита сидел в переднем углу. Зачерпнув капусту, он вытирал ложку куском хлеба, чтобы не закапать стола.

— Как будем жить? Коль замиренья не будет, пропадем, — вздохнула старуха.

— Ведь покуда не пропали, — возразил Никита.

Он вероятно хотел сказать: «А я-то на что?» . . . Но, поразмыслив, не счел нужным распространяться.

Я похлопал мальчика по плечу.

— А ведь с таким человеком вам действительно нечего бояться. У него, как видно, золотые руки, а, самое главное, золотая душа.

1943 г.

МАРУСИН СТОЛБ

Командование неприятельской армии всюду расклеило об'явления: «В случае обнаружения партизан в каком-либо поселке все его жители подлежат поголовному уничтожению».

Темной осенней ночью деревней Заозерье проезжала грузовая немецкая машина с бочками бензина. Кто-то обстрелял ее из автомата. Колеса были пробиты. Машина остановилась. Загорелся бензин. Шофер успел выскочить из кабины и скрыться.

Рано утром деревня была оцеплена войсками.

В штабе армии долго совещались, как наказать провинившихся — спалить ли целиком деревню со всем ее населением, или вывести всех от мала до велика к лесной опушке и там расстрелять поочереди, а для того, чтоб расправа устрашила жителей окрестных деревень, согнать их к месту расстрела. После некоторого обсуждения был принят последний план — на том основании, что опыт сжигания деревень со всем населением дал неожиданные результаты: количество партизан не уменьшалось, а изо дня в день увеличивалось.

На следующий день в Заозерье были согнаны сотни женщин, стариков и детей из трех соседних деревень: Кустовки, Андреевки и Крутоярова. Их привели к опушке и

расположили на холме. Зондерфюрер, говоривший по русски, сказал:

— Вы будете смотреть, как расстреливают тех, которые вредят освобождению русского народа от большевиков. Немцы пришли к вам, как друзья, а вы стараетесь всячески вредить им. Повсеместно расклеено об'явление — о поголовном уничтожении жителей тех поселков, где происходит нападение на немцев. Люди знают, что их ожидает и все-таки не унимаются. Так пусть же обвиняют не нас, а самих себя. Сейчас будет расстреляно 38 женщин, 12 мужчин и 36 человек детей. Грудных младенцев матери будут держать на руках. Боритесь с партизанами: в этом ваше спасение. Сочувствующие партизанам рано или поздно не избегнут возмездия.

Народ молча слушал угрожающую речь зондерфюрера. Лица у всех были хмурые. Но вот со стороны деревни Заозерье послышались вопли: это гнали под усиленным конвоем обреченных. Люди спотыкались, падали: слезы мешали им смотреть на дорогу, по которой их вели. Глядя на них, застонали и все те, которых пригнали в качестве зрителей. Заозерцев остановили поодаль.

День был пасмурный. Слегка моросило. С покрасневших осин на опушке падали листья, похожие на большие капли крови.

Зондерфюрер снова подошел к зрителям:

— После расстрела не расходитесь: вы должны будете выкопать общую могилу и похоронить своих земляков.

Четыре офицера и зондерфюрер стали совещаться, на каком месте расстреливать — поближе к лесу или подальше от него? Поближе к опушке была яма, в которую могли бы падать убитые. Но со стороны леса грозила опасность: могли неожиданно появиться партизаны и помешать расстрелу. Принято было решение: расстреливать из пуле-

мета поодаль от пушки, поставив возле нее заградительный отряд. Всех казнимых ставить у серого острого камня, выступавшего из земли, рядом с телеграфным столбом. Перед расстрелом привязывать людей к столбу.

Первой в очереди почему-то оказалась девушка лет восемнадцати. Солдат дернул ее за руку и повел к серому камню. Она с криком вырвалась от него и, подбежав к группе офицеров, упала перед ними на колени. Целуя им поочереди сапоги, она прерывающимся от слез голосом умоляла:

— Пожалейте, господа офицеры, мою молодость. Я еще не жила на свете. Я ни в чем не виновата. Отправьте меня в Германию на самые тяжелые работы, морите меня голодом и холодом, только не расстреливайте . . .

Один из офицеров презрительно отпихнул сапогом девушку:

— Возьмите ее!

Подбежали два ефрейтора. Девушка вырывалась, но ее силы были недостаточны, чтобы одолеть двух сытых солдат. Ее подвели к столбу. Привязали. Она не переставала кричать. Черный платок сполз на затылок. Растрепались светлые волосы. Но вот застрочил пулемет, и вопли прекратились. Тело перекосилось, голова повисла, ветерок шевелил мягкие волосы. Солдаты быстро отвязали труп от столба и оттащили в сторону.

Словно капли крови, падали с красных осин листочки. Пролетавшие вороны испуганно взмахивали крыльями. Начал накрапывать мелкий дождь. Стоны ожидавших своей очереди и наблюдавших за казнью не прекращались.

Следующим должны были расстрелять старика лет семидесяти пяти. Он был высок ростом. Седая борода доставала до пояса. Солдат, подошедший к нему, не дернул

его за руку, а только сделал небрежный жест, который означал: «Выходи»! . . .

Старик покорно отделился от толпы заозерцев и поднял руку. Офицеры поняли, что он хочет обратиться с какой-то просьбой.

— Говори! — перевел разрешение зондерфюрер.

— Господа офицеры! Меня можете не привязывать к столбу: бежать все равно некуда, да и ноги мои уже давно разучились бегать. Об одном вас прошу: расстреляйте меня вместе с моей старухой. Вместе прожили всю жизнь, вместе хочется предстать и перед Вечным Судией.

— Это можно, — сказал зондерфюрер с разрешения офицеров.

— И еще об одном хочу попросить вас, добрые люди: не сразу расстреливайте нас, а дайте сначала помолиться.

— И на это согласны.

Старик подошел к толпе заозерцев и взял под руку свою спутницу. Она не стонала, не вопила, только, обессилев от страха, как мешок, повисла на руке мужа.

— Не бойся, — ободрял он ее.

Их спокойствие подействовало на всех: и солдатам, и офицерам, и всем русским стало как-то неловко. Но особенно стыдно было обреченным: почему никто из них не догадался помолиться?

Старики опустились на колени возле камня. Глаза подняли к небу.

— Господи Боже, наш милостивый Заступник и Ходатай! — начал старик, — благодарим Тебя за долгую жизнь, которую Ты подарил нам обоим. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты вместе отзываешь нас с земли. О, какая это радость, наш Небесный Владыка, предстать пред Тобою рука об руку.

Долго молился старик. Он просил Бога — ободрить

остальных его однодеревенцев, простить немецкое командование ,которое расстреливает невинных, сжалиться над миром, истекающим кровью, опустошаемым злобой, ненавистью, братоубийством, примирить враждующие государства, послать на землю свет Христовой Любви, единения, смирения, братства.

Внимательно слушавший зондерфюрер начал о чем-то энергично говорить с офицерами, показывая то на молящихся стариков, то на ожидающих своей очереди, то на зрителей.

— Прости им, Господи, сжигание русских деревень и поголовные расстрелы, вразуми их, Господи, чтобы они не нашли себе погибель в нашей стране, прими в свою святую обитель наши исстрадавшиеся души, помоги нам, Господи, принять без страха расстрел из пулемета и предстать пред Тобою с чистым сердцем. Аминь.

Старик приподнялся с колен и помог встать своей старухе. Они подошли к столбу и оперлись на него.

— Мы готовы, господа офицеры.

— Хоть ты и приготовился к смерти, дедушка, но придется ее отложить годиков на пяток или на целый десяток, — веселым тоном сказал зондерфюрер.

Старик не понял. Не расслышав слова «годиков», он решил, что его расстреляют после пяти или десяти человек.

— Господин офицер, почему через пять или через десять? . . . Лучше сейчас . . .

В ответ на просьбу зондерфюрер рассмеялся:

— Неужели тебе надоела жизнь, дедушка?

— Как может она надоесть, касатик, да ведь за пять-то минут все равно не надышишься . . .

— Кто тебе сказал о пяти минутах? . . . А может быть ты проживешь все 25 лет.

— Так стало-быть вы раздумали нас приканчивать?

— Раздумали, дедушка, и тебя со старухой и всех остальных . . .

— Ну, спасибо за это, касатики.

Он подошел к своим однодеревенцам.

— Поблагодарим Творца за великую милость. Только одну душу мы потеряли. После молитвы похороним ее.

Он опустился на колени. За ним все остальные: из Заозерья, Кустовки, Андреевки, Крутоярова. Старик запел звонким молодым голосом:

— Христос воскресе из мертвых . . .

Все стройно, проникновенно, со слезою в голосе, подхватили:

— Смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.

Не три, а много раз пропели этот пасхальный гимн старики, женщины и дети. А поднявшись с колен, стали обнимать и целовать друг друга.

Девушку похоронили около столба. Так как ее звали Марией, то и месту этому в тот же день дана была кличка: «Марусин столб».

Возвращаясь домой, люди сначала недоумевали, почему офицеры не пощадили молодой девушки и почему молитва старика смягчила сердца победителей? Но скоро догадались: девушка хотела вымолить себе спасение у человека, а старик обратился к Высшей Силе. И эта Сила спасла не только его, но и несколько десятков обреченных душ.

1954 г.

НОЧНОЙ ТУМАН

Осень. Война. Фронт.

Я зачислен в подразделение, которое сокращенно носит название «ВНОС». Нас шестеро. До позднего вечера мы копали землянку за деревней, на опушке леса. Жилье готово: в нем сделаны земляные нары, земляные полки, выемки для вещевых походных мешков. На толстые бревна крыши навалено сено, забросанное сверху глиной. Поверх глины сено для маскировки.

В землянке тепло и тихо, пахнет клевером и полынью.

Мы кинули жребий, кому дежурить в первую ночь. Досталось мне и Волкову, пожилому крестьянину из-под Москвы.

У каждого — противогаз и винтовка. Поверх коротких стеганых курточек негреющие четырехугольные плащи из «чортовой кожи». Мы уговорились: я, как более молодой и здоровый, буду стоять поближе к деревне, на открытом месте, а старик Волков, страдающий ревматизмом, расположится в затишьи, у самой опушки.

Туман, забелевший с вечера на заливных лугах по ту сторону деревни, сейчас поднялся до верхушек елей и берез. Волны сырости касаются лица и рук. Плащ постепенно пропитывается влагой и топорщится, не прилегая к телу.

Не видно ни очертаний деревни, ни леса. Все затоплено дымчатой сыростью.

Близко фронт. Но в эти часы не слышно ни уханья орудий, ни гуденья самолетов, ни пулеметной трескотни.

Мы должны наблюдать за воздухом и небом. Седой туман поглотил и небо и воздух.

— Как хорошо теперь в землянке, — думаю я, а еще лучше дома, на теплой деревенской печке. Придется ли когда-нибудь лечь спиной на горячие кирпичи и прогреть зазябшие ноги, заточенные сейчас в тяжелые ботинки, с толстой резиновой подошвой.

Как много мыслей в голове и каждая отзывается тоской в сердце.

Минуты растягиваются в вечность. Кажется, что я брожу по дну океана.

Кто вернет меня к жизни, теплу и свету? Увижу ли я когда-нибудь своих близких?

— Волков! — зову шопотом. Никакого отклика. Туман все гуще и холоднее.

— Волков!

Я иду к опушке и натыкаюсь на землянку. Оттуда доносится соблазнительное храпение наших боевых товарищей. Может-быть зайти и погреться? Но чувство долга сильнее человеческих желаний.

Вот и лес. Последние листья, обремененные росою тумана ,падают с ветвей. Я это, скорее, чувствую, чем слышу.

У ствола березы слышится дыхание спящего. Это он — бедный старик. Вместо теплой печки — сырая земля. Закутавшись плащом, он скрючился, поджав под себя ноги. Его губы издают звуки мерзнущего — что-то похожее на свист и вздохи.

— Не буду будить, — решаю я, — спросонья ему станет еще холоднее. Какая польза от этого человека, если он будет бодрствовать?

Я опускаюсь в землянку, ощупью нахожу свое место

и сгребаю сенную подстилку. Штык винтовки задевает за бревенчатый потолок. Со стенок осыпается земля. Спящие ничего не слышат. Через минуту, выйдя из землянки с большой охапкой сена, я закрываю старика и сразу его дыхание делается ровным.

Мне нужно вернуться на свой пост.

Туман не стоит на месте, как вода в тихом озере. Он движется волнами, как на море, то ослабевая, то нарастая. Но эти волны, в отличие от морских, бесшумны.

Мои зубы начинают выбивать дробь, которую невозможно остановить. Делаю бег на месте. Приседаю, чтобы зажечь под плащом спичку и посмотреть на часы. О, до смены еще столько же! . . . Хватит ли сил?

Слышится хлопанье крыльев и вслед за этим разливается хрипловатое ку-ка-ре-ку. Через минуту петухи горланят по всей деревне . .. Пойте подольше: вы подаете весть, что жизнь не умерла! . . .

Но снова тишина, одиночество, тоска и туман — густой, пронизывающий, волнообразный.

1943 г.

ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВИДЕНИЙ

Среди нас были старые, молодые и дети, не достигшие пятнадцатилетнего возраста. Командиры называли нас бойцами, но это никого не радовало.

И днем и ночью маршируя по разбитым, пыльным дорогам нашей несчастной Родины, измученные физически и душевно, мы не могли подавить своей тоски и забывались только на привалах.

Несчастье делает людей религиозными. Многие из нас молились молча. С двумя просьбами обращались мы к Богу: «Господи, сохрани меня и дай увидеться с родною семьей».

Перед внезапным засыпанием после мучительного перехода, где-нибудь на голой земле, под открытым небом, мы все же успевали пожелать себе свидания с близкими, хотя бы в сновидении. Днем мы старались припомнить свои сны и рассказать о них товарищам.

Профессора, академики, инженеры, артисты, писатели, художники, делились своими сновидениями с такой же надеждой на просвет и с тревогой за будущее, как и крестьяне, рабочие, неграмотные старики и наивные подростки. Каждому хотелось, чтобы кто то разгадал его сон и хоть чем-нибудь порадовал.

И вот нашелся в нашем батальоне один, который понял скорбь своих товарищей. Он сказал:

— Я могу растолковать любой сон.

Это был человек лет сорока пяти, с грустными карими глазами. Даже в невыносимых условиях походной жизни он сумел сохранить в душе преклонение пред красотой.

Когда батальон проходил цветущими лугами, наш созерцатель умудрялся собрать красивый букет, чтобы подарить его одной из плачущих женщин, которых мы встречали так много в каждой деревне.

На привалах он читал бойцам стихи Блока, Фета, Лермонтова, Пушкина

Если батальон располагался на несколько дней в ка ком-нибудь селении, толкователь сновидений заводил дружбу с детьми, рассказывая им сказки и всевозможные истории из собственной жизни, богатой приключениями.

Когда изнурительные многодневные походы валили с ног несчастных людей, батальонный командир приказывал:

— Коноплев, вперед!

Это означало, что нужно всех подбодрить песней.

И вот, над тихими лугами, уютными полянами, хвойными лесами и березовыми рощами разливалась маршевая песня.

Коноплев запевал, батальон подхватывал и отчаяние покидало сердца.

Когда этот человек сказал, что может разгадывать сны, каждый старался улучить минутку, чтобы рассказать о сновидениях последней ночи. Это делалось в присутствии товарищей. У большинства сны были несложные, злободневные.

— К чему бы это, товарищ Коноплев, мне двенадцатиствольный пулемет приснился? И будто бы меня назначили пулеметчиком. И стою я будто бы за пулеметом, а навстречу из лесу — неприятель. Я начинаю действовать, а пу-

лемет не стреляет . . . Я — так и сяк — ни одного выстрела.

— Ну, а что ж дальше-то было? — нетерпеливо спрашивают товарищи, — небось, в плен попал?

— Проснулся от страха.

Семейным снились дети, жена; холостым — отец, мать, любимая девушка. Коноплев терпеливо выслушивал каждый рассказ и старался так его растолковать, чтобы у человека не болела душа.

— Горя и так много, — думал он, — надо ж чем-нибудь утешить несчастных хоть на несколько мгновений.

И он предсказывал почти всем встречу с близкими, длительную счастливую жизнь, материальное благополучие после войны, успехи в работе, нечаянную удачу, получение письма или посылки.

Он говорил убедительным тоном, как гипнотизер, и его мягкий певучий голос успокаивал всех жаждавших счастья.

Где он теперь — этот бескорыстный добряк? Неужели и его уничтожила машина войны?

1943 г.

ЧТО БЫ Я СДЕЛАЛ?

Батальонная кухня перекочевывала с одного места на другое по мере того, как мы передвигались с востока на запад. Она состояла из нескольких огромных котлов и жестяных баков для кипятка.

Котлы на каждой новой стоянке вкапывались в землю и это отнимало много времени у обслуживающего персонала.

Когда по батальону об'являлся приказ о выступлении в поход, в котлах, зачастую, еще не был готов обед. Чтобы не губить продуктов, повар раздавал недоваренный суп жителям ближайшей деревни. В такие дни мы оставались без горячей пищи.

Располагалась кухня в таком месте, где бы ее нельзя было разглядеть с самолета — в лесу, в кустарнике, а если в деревне, то под навесом, замаскированным ветками.

Старые и молодые ополченцы всех рот сходились обедать в определенное время, но часто обед запаздывал и это давало возможность полежать или посидеть под кустиками в ожидании раздачи «приварка».

Многие, развалившись на траве, моментально засыпали. Другие, собравшись небольшими группами, начинали беседу. О чем? О, конечно, о том, как хороша мирная жизнь. Мир — вот к чему устремлялись помыслы каждого, вот что было самым заветным желанием стариков и молодежи.

Однажды кто-то спросил:

— Ну, а чтобы вы сделали с радости, если бы вам завтра об'явили: «Войне конец! Идите по домам».

Все возбужденно зашумели, разрумянились, заулыбались.

— Да уж нашли бы что сделать, — сказал бывший балтийский моряк, любивший песню: «Голова ль ты моя удалая».

— Я с радости корову для бедных пожертвовал бы, — сказал худощавый, подслеповатый и беззубый крестьянин Иван Копылов, — зачем мне молоко, коль есть вода?

— Ого, хватанул! — удивились товарищи.

— Не огокайте, — властно махнул рукой крестьянин, — малых детей у меня нет, жить осталось немного, потому как я насквозь больной . . . Так уж дотянуть, по крайности, до могилы без страха, что за всякую минуту может укокошить бомба, пуля или граната . . . Старуха моя со мной вместе. В холод заберемся на печку, слушаем, как тюрликает сверчок, принюхиваемся к хлебному духу . . . Захотели поесть — слезли с печки, перекусили капустки, картошки . . . Чего ж еще надо? Ни тебе винтовки, ни противогаза, ни пудовой походной сумки . . . Не надо трепыхаться от воздушной тревоги, не надо изнурять себя походами. Вечером соберутся соседи. Потолкуем о том, о сем . . . Да зачем же при такой жизни молоко? Покой в тысячу раз дороже разносолов и сладких кусков.

— Правильно, дедушка, — отозвался человек невысокого роста, с задумчивым лицом и густыми черными бровями, — я бы поступил, как и ты, если бы имел корову, но у наборщиков коров не бывает . . . Что ж сделал бы я, если бы сказали: «Кровопролитию конец»? . . . Пришел бы домой, поступил на работу и сказал бы типографскому начальству:

— Ну, вот что: война меня не сгубила. Я вернулся целым и невредимым. Радость мою нельзя описать. А кругом — разор, нужда, горе. Многим людям некуда приклонить голову, нечем прикрыть наготу. Стыдно мне жить хорошо, когда другие бедствуют. По этому случаю отказываюсь на целый год от половины своего жалованья: отчисляйте его в пользу больных, увечных, престарелых.

— Своей-то семьи у тебя нету что-ли? — спросили у наборщика.

— Как нет . . . Жена, мать и двое детей.

— Так разве тебе хватило бы половины жалованья? Небось, до войны и с целым-то окладом еле-еле сводил концы с концами?

— Не равняйте, что было, с тем, что настанет. После войны и жизнь и люди должны перемениться. Здоровый человек будет ценить каждую минуту, как сокровище. А будет свободная минута, найдутся средства и на жизнь.

— Я бы взял на воспитание двух сирот, — сказал седой боец в очках — представляете, сколько отцов не вернется домой, сколько детей ударится в беспризорничество? . . . Приласкать бесприютных, усыновить их, дать им хорошее воспитание . . .

— Это будет замечательно! — прервали седого бойца товарищи.

Каким теплом и радостью светились их лица! Видно было, что у каждого дома остались любимые дети или братишки, маленькие крестники или племянники. И вот, если каждый из оставшихся в живых приголубит после войны сироту, как это будет хорошо!

Ветер гнал тучи с запада. Шумели желтеющие березы, под которыми расположились люди в синих гимнастерках. Золотой дождь листопада кружился в воздухе.

— Вот так же стегает и кружит жизнь и сирот, — сказал седой боец в очках.

— Хуже, — откликнулось сразу несколько голосов, — листья — что? Они мертвые. Покрасовались лето и долой с веток! . . . А ведь малые дети и жизни еще не видали . . . Большому человеку иной раз нет выхода из тупика, а каково при таком положении беспризорным малышам?

Беседа привлекла людей из других групп. И вскоре почти весь батальон собрался вместе. Каждому хотелось высказать свои заветные желания. Были тут кузнецы, плотники, телеграфисты, электрики, учителя, агрономы, чернорабочие, крестьяне и люди высоких квалификаций.

— Я бы сделал каждому односельчанину по топору — строиться после войны, — сказал кузнец.

— Я бы построил дом для приюта, — дополнил кузнеца плотник.

— Я бы соорудил бесплатно несколько мостов, — заявил инженер.

— Я бы развел сад для общего пользования на церковной площади.

Никто из этих людей не загадывал по случаю будущей радости чего-либо порочного. Помыслы каждого были направлены в сторону добра и душевной красоты.

Глядя на этих размечтавшихся людей, можно было сказать с уверенностью:

— Они не забудут своих обещаний: скорби, причиненные войной, облагородили человеческие души.

1943 г.

ТОСКА ПО РОДИНЕ

По четвергам добрая бауэрка Эльза давала мне литр молока. Ее хутор был в пяти километрах от той деревни, куда я убежал из дипийского лагеря. Убежать заставили опасения: я боялся, что меня поймают энкаведисты репатриционной комиссии.

При первой проверке всех жителей лагеря для установления «старый» он или «новый», советчики допрашивали меня 15 минут. Американский офицер-переводчик нетерпеливо заметил:

— Нельзя так долго.

Через две недели комиссия в том же составе проверяла вторично 75 человек, ответы которых при первом опросе показались энкаведистам подозрительными. Мое имя в этом списке значилось одним из первых. Мне были заданы те же вопросы. Один спрашивал, другой в упор смотрел в глаза.

— На все это я ответил в прошлый раз, — сказал я, не скрывая возмущения.

— Да, да, у вас нет ничего нового, — подтвердил тот же офицер-американец.

На этом моральные пытки не кончились. Через некоторое время об'явили, что я должен явиться на проверку в третий раз. Теперь в списке было только 18 человек.

Советские офицеры отсутствовали. Допрашивали американцы — двое пожилых и молодой, все в военной форме.

По стенам были развешаны карты России и Западной Европы. Каждого входившего в комнату заставляли снимать рубашку, поднимать руки, поворачиваться спиной к комиссии. Как потом выяснилось, на теле подозрительных людей искали выжженных эсесовских знаков. Было даже смешно, что меня заподозрили в связях с эсесовцами.

После осмотра тела просили показать все города, где я жил в России и в Европе. Так как я создал легенду, что перебежал советскую границу в 1937 году, меня попросили указать, в каком месте это было и весь маршрут моих европейских скитаний.

Экспромтом отыскивать города на нерусских картах, испещренных надписями, было нелегко. Медленно, с заминками, водя дрожащим пальцем по карте, я спрашивал самого себя: «Верят ли американцы моей легенде, или, понимая мое положение, только делают вид, что верят?»

В таких случаях почему-то прошибает усиленный пот. Платка при мне не было. Выступив сначала крупными каплями, пот быстро превратился в струйки, стекавшие на пол.

— Если бы не предательский пот, — может-быть и поверили бы, а теперь не поверят, — думал я с тоскою. Про себя горячо молился. Выйдя из комнаты, почувствовал себя расслабленным. Хотелось лечь и забыться сном от всего пережитого. Но жители лагеря обступили тесным кольцом:

— Ну, о чем спрашивали?

— Строгие?

— Глядели при допросе в бумаги?

— Почему вас не хотят оставить в покое?

— Вероятно советчикам очень хочется, чтобы я вернулся на «Родину, которая ждет меня» . . .

Через месяц разлетелся слух, что меня должны вызвать в четвертый раз. Тогда я решил убежать из лагеря. Деревня, где я поселился, была в 13 километрах от Браунау — родины Гитлера. Дом, где родился Гитлер, занимал американский штаб.

Меня приютила русская семья из «новых», а всего в деревне было восемь таких семей. В ближайших деревнях и хуторах жило еще несколько русских — одиночек и семейных. По воскресеньям и большим праздникам к нам приезжал священник из Линца. Службы происходили в старой заброшенной часовне. Я пел в хоре и читал шестопсалмие.

О поступлении на какую-либо работу нечего было и думать: «ауслендеров» почти никуда не принимали. Чтобы добыть средства для существования, стали делать цветы из бумаги. Сбывали мы их, главным образом, бауэрам. Ходили по окрестным деревням, хуторам, поселкам, заходили в каждый дом и предлагали свое изделие. Вот тогда-то я и познакомился с доброй Эльзой. В первый раз она дала мне за цветы — десяток яиц, килограмм творогу, поллитра сливок, кусочек шпеку и литр молока. Я спросил, не будет ли она продавать свои продукты за деньги. Она сказала, что каждый четверг будет давать мне литр молока, а все остальное — в том случае, если что-нибудь окажется лишним.

С тех пор раз в неделю я делал десятикилометровую прогулку, независимо от погоды. Когда завывал ветер или валил снег, идти одному по глухой дороге было тоскливо. Но я утешал себя тем, что это все же лучше, чем концентрационный лагерь, лучше, чем лагерь военнопленных, лучше, чем постоянный страх и ожидание ареста в Москве.

Дом Эльзы был большой, старинный, защищенный от ветров фруктовым садом. У двора меня встречали добро-

душным лаем две собаки — рыжая и черная. Из коровника доносилось мычание, напоминавшее родную деревню, детство. В конюшне цокали копытами по деревянному полу переступавшие с ноги на ногу, сытые лошади. Во дворе суетились, клевали и разговаривали по своему куры, петухи, утки, гуси, индейки. Глядя на эту мирную картину, которая свидетельствовала о достатке, спокойствии и свободе, невольно переносился мысленно на Родину, где все это было когда-то, а теперь исчезло по прихоти хозяев страны.

Эльза и ее муж встречали приветливо, предлагали погреться возле огромной плиты, на которой стояли многочисленные кастрюли. Плиту топили короткими аккуратными вязанками сухого ельника. Такие вязанки в Австрии сложены штабелями возле каждого бауэрского дома. Глядя на это, думаешь о хозяйственной бережливости людей, у которых не пропадает ни один прутик.

Кухня и столовая были просторные, светлые. Массивные дубовые столы никогда не покрывались скатертями. Если я приходил во время обеда, меня приглашали за стол. Национальное австрийское кушанье «кнедли» — шарики из размоченного в молоке сухого хлеба, сваренные в масле. О, какими вкусными казались они русскому беженцу после пятикилометровой дороги на ветру и холоде.

В один из сентябрьских четвергов погода стояла ужасная: с утра лил дождь. Идти или не идти к Эльзе? Ведь можно одеть солдатский жесткий плащ, обуться в американские военные ботинки, на голову натянуть кожаную ушанку. Ничего, что на дорогах грязно. У Эльзы отогреюсь. Такая погода еще больше расположит ее ко мне и она, раздобрившись, даст что-нибудь кроме молока.

Друзья-сожители уговаривали не идти: не пропадем и без молока. Но мне не хотелось нарушать однажды уста-

новленного ритма. И я пошел. Косой дождь хлестал в лицо и я часто поворачивался к нему спиной. Дул ветер. На опустевших полях и проселочных дорогах не было ни одного живого существа.

Отдаленные холмы, покрытые хвойным лесом, теперь еле виднелись сквозь сетку дождя, сделавшего их из зеленых — серыми. На пустынном перекрестке стояли три больших креста со скульптурными изображениями распятого Христа и двух разбойников. Фигуры были из дерева. Как видно, кресты стояли здесь очень давно: тела Христа и разбойников во многих местах потрескались, руки в плечах отделились от туловища. Но терновый венец крепко держался на лбу. Краска, изображавшая капли крови, не полиняла за многие годы. Омытая дождем кровь казалась свежей, сейчас текущей из ран.

Я склонил колени у подножья среднего креста и стал благодарить Бога за Его любовь к миру: кто бы из людей отдал своего сына на крестные страдания?

К благодарности присоединилась и просьба: так устроить мою жизнь, чтобы она доставляла радость Богу и людям.

В километре от хутора Эльзы, на опушке рощи, стояла маленькая часовенка, которую мы звали капличкой. В ней была икона Богоматери с сердцем, пронзенным мечами. В капличке я подождал, когда стихнет налетевший шторм. Сильный дождь, падая на землю, мгновенно превращался в лопающиеся пузыри. Они стремительно бежали по наклонной дороге, делая ее серовато-белой, пеняющейся.

Когда я подсшел к знакомому хутору, собаки залаяли с необычной неприязнью. Вороной лошади за неплотной дверью конюшни не было видно. Обошел кругом. Заглянул в окна. Они были завешены клетчатыми шторками. Без всякой надежды постучал в дверь. Внутри дома — тишина. Меня заметила соседка. Выйдя на крылечко, она сказала,

что фрау Эльза уехала с мужем утром и вернется только вечером.

Разочарованным побрел домой. Сразу почувствовалась усталость. Захотелось есть. Ноги застыли. Плачевной показалась теперешняя жизнь. Что ждет впереди? Изменится ли положение на родине? Чувствуют ли мои родные, что каждое мгновение я переношусь мысленно к ним и живу надеждой на свидание?

Захотелось все свои переживания излить в песне. Припомнился почему-то напев: «Подружки милые, я девушка пропащая» . . . Много раз слышал я эту песню погибшей души и сам не раз певал ее. И вот теперь, в ритм этой песни, стали одно за другим появляться слова, тут же пропеваемые под шум дождя и свист ветра.

Друзья мои и родичи любимые,
Родные избы, песни деревень,
Луга, леса, поля необозримые,
Вернусь ли к вам — хоть б в предсмертный день?

К дождевым струям, которые текли по лицу, теперь присоединились слезы. Душа стонала от грусти, но в этой грусти была и радость — надрывная радость рождения печальной песни.

Прочту ли вам молитву покаяния?
Успею ль крикнуть: «Родина, прости?!»
О, если б знала ты мои страдания,
Мои тернистые в изгнании пути . . .
Тоска и слезы за тебя пролитые —
Всегда сжимают сердце, как удав.
В чужих краях умершие, убитые —
Нашли покой, тебя не повидав.

Подошел к трем крестам. Дождь с шумом обмывал распятые тела. Еще краснее стали капли крови на лбу, ладонях, на ногах и у пронзенного ребра Христа. Я снова приник к подножию. Тело дрожало от холода и тоски.

Распятая, поруганная, грешная,
К тебе стремлюсь я телом и душой.
Ужели вечно горе неутешное?
Ужель и мне лежать в земле чужой?
А до могилы — новые скитания,
С протянутой рукою и сумой . . .
О, Господи, услышь мои стенания:
Верни меня, верни всех нас домой! . . .

Песня родилась. Ее матерью была неудача. Теперь я был благодарен Эльзе за то, что она в этот день куда-то уехала по неотложным делам. Теперь я понимал, почему меня так влекло утром на отдаленный хутор. В своей безыскусственной, новой песне я выразил тоску по Родине — не только свою, но всех таких, как я. Я продолжал плакать, но теперь уже от радости и благодарности Творцу за духовные дары.

Вечером мы пели эту песню втроем, под гитару. Мечта уносила нас на Родину. Хотелось верить, что мы вернемся «к милому пределу», что воскресший Спаситель воскресит и Россию, прошедшую крестный путь страдания, унижения, позора, бесправия, крови и смерти.

1954 г.

ОВСЯНЫЙ КИСЕЛЬ

Нам были строго запрещены встречи с местными жителями. Но каждый старался улизнуть из окопов в ближайшую деревню, чтобы поживиться куском хлеба, бутылкой молока, котелком картошки.

Многие, вернувшись в сырые землянки, жаловались:

— Ничего не раздобыл, говорят: «У самих пусто . . . вас тут несметная сила, разве напасешься на всех яиц и молока?» . . .

Но я всегда находил общий язык с крестьянами, в особенности, с женщинами. Скажешь шутку, споешь песню, расспросишь о детях, вместе погорюешь, и смотришь — на лице сочувствие, слезы, ласка. Предлагают зайти в избу, напоят, накормят, да еще с собой дадут . . . А на прощанье скажут:

— Заходи, служивый, не разоримся лишним куском хлеба и миской похлебки.

В деревне Кургузово я завел дружбу с семьей Калитиных. Чистый домик с палисадником. Зеленые ставни. Розовая и красная мальва вдоль деревянной оградки.

Как-то стою у крылечка со своей походной сумкой, противогазом и винтовкой и думаю: «Зайти или выбрать избу победней?»

Из дома вышла хозяйка — моложавая, опрятная. По-

смотрела хорошо, как родная сестра, сама первая предложила:

— Заходите, товарищ.

Вошел. Чистота. Пол крашеный. По стенам картины и фотографические карточки в рамках. В переднем углу иконы, лампадка. На окнах шторы. Возле печи обеденный стол. У божницы другой, покрытый белой вязаной скатертью. Часть дома отгорожена для спальни.

Хозяйка стала расспрашивать: кто, откуда, есть ли семья, придут ли в Кургузово немцы?

— Овсяного киселька не побрезгаете покушать?

Поспешно, хотя и со смущением, из'явил готовность, поблагодарил. Принесла из сеней горшок молока, нарезала хлеба:

— Подкрепляйтесь, товарищ.

Кисель, как и полагается, был с кислинкой. С молоком это было необычное лакомство для голодного ополченца.

Пришел хозяин с сыном-подростком, учеником средней школы. Все оказались словоохотливыми, внимательными. Отец рассказал о старшем сыне лейтенанте, от которого уже давно нет писем. Хозяевам было особенно приятно, что я москвич.

— Побывали и мы в матушке-Москве, да еще не один раз. И в цирк ходили, и в парк культуры, и в планетарий, и всяких зверей осматривали. А вот теперь, слышно, немцы каждую ночь бомбы бросают. Жалко: и люди пострадают и культура.

Младшего сына звали Федей. Как большинство его сверстников, он мечтал о карьере летчика.

Я стал часто захаживать к Калитиным. Товарищи по роте предупреждали:

— Не наживи беды. Сам знаешь установку командования: «Между населением и бойцами должна быть стена».

Однажды я сидел за обеденным столом вместе с хозяевами. После забеленой похлебки ели кисель из общей миски.

Неожиданно для меня раскрылась дверь и вошел командир батальона Суворов. До войны он был помощником директора Коломенского паровозостроительного завода. На войну пошел добровольцем. Перед ополченской массой выступал неоднократно. Говорил всегда, как правоверный партиец, общие фразы о торжестве коммунизма во всем мире. Требовал суровой дисциплины. За нарушение грозил карами вплоть до расстрела. Общение армии с населением по его мнению действовало деморализующе на бойцов, напоминая им о прелестях мирной жизни.

— Никаких гостеваний у местных колхозников! — предупреждал командир, грозя пальцем.

Войдя в дом, он холодно буркнул: «Здравствуйте» и сделав вид, что не заметил меня, по хозяйски, смело прошел в спальню. Остановившись у открытой двери, с минуту постоял, глядя в окно, потом молча лег на кровать.

Я замер от ужаса. Задрожала ложка в руке.

— Кушайте, — шопотом говорили хозяева.

Кивнув в сторону спальни, я взглядом спросил, что это значит?

— Квартирует у нас и столуется.

— Почему вы не предупредили меня? . . . Теперь мне конец . . .

— Не бойтесь, вы же не сделали ничего плохого.

На цыпочках я вылез из-за стола и вышел за дверь с темнотою в глазах и с камнем на сердце. Что будет? Какому наказанию меня подвергнут?

Стал ждать. В страхе проходили день за днем. Калитиным боялся показаться на глаза. Как-то к нашим окопам подошел Федя. Вызвал меня.

— Не бойтесь, товарищ, мы уговорили Суворова не

наказывать вас. Сначала он хотел перевести вас в штрафной батальон. Мама со слезами упросила: «Не губите хорошего человека, это мы виноваты, что он захаживал к нам» . . . Командир долго упрямился, а под конец сказал:

— Только ради вас не дам делу хода, но награды этот супчик не получит.

Мы спросили, о какой награде говорит командир. Оказывается, командование хотело наградить вас за участие во фронтовых спектаклях, как артиста-любителя. Но это небольшая беда: можно жить и без награды, — тепло и ободряюще сказал Федя и протянул мне увесистый сверток.

— Это что?

— Мама гостинчик прислала: лепешки и вареные яйца. Командир по секрету сказал, что ночью вашу часть погонят на передовые позиции . . . Если останетесь живыми, приезжайте после войны в гости.

— Обязательно приеду, Федя . . . И ты и твои отец с матерью — редкостные люди . . . И ваш овсяный кисель замечательный . . .

— Прощайте, товарищ.

— Прощай, Федя.

Мы обнялись и оба заплакали.

1952 г.

БРАТЕЦ

Я — воспитатель детского сада. Самый маленький из моих 30 воспитанников — Ваня Соломин. Ему только что исполнилось три года. Румяное продолговатое личико, светлые прямые волосы, причесанные на косой пробор. Пытливые синие глаза. Аккуратный, чистый, сосредоточенно серьезный. В общих играх не принимает участия. Всегда один. Ко всему прислушивается, присматривается, о чем-то думает молча. В детский сад приходит с шестилетним братом Колей, но никогда не обращается к нему с какой-либо просьбой или жалобой. Он живет своей жизнью. Мир Божий удивляет его своим многообразием, но свое удивление малыш выражает не в восклицаниях, а в углубленном молчании. Только мне открывает он свои тайны, восторги и наблюдения. Утром, войдя в помещение, он отзывает меня в сторону и тихо говорит:

— Сядь.

Когда я сижу на детском стульчике, Ване удобнее со мной разговаривать. Тогда мы можем смотреть в глаза друг другу.

— Хочешь что-то сказать?

— Да.

Он не спешит, как бы взвешивая, готов ли я выслушать его.

— Ну, рассказывай.

— Принесли курицу в избу. Дали таракана. Сразу проглотила. Еще поймали. Тоже сглонула. Еще одного — хоп, и готово!

— Какая ненасытная курица, — удивляюсь я.

— Черная, — говорит он со вздохом. В этом вздохе удивление перед ловкостью курицы, умеющей глотать тараканов «сразу».

— А что у вас случилось еще?

— Молока надоили. На окно поставили. Кошка прыгнула. Горшок разбился. Молоко потекло. Мама ругалась.

— А-я-яй! . . . Какая безобразная кошка.

— Серая.

И опять вздох.

Однажды Ваня прибежал в детский сад раньше обычного, без сопровождения брата. По его сияющему лицу было видно, что он хочет сказать что-то незаурядное.

— Сядь.

— Слушаю.

— У меня братец народился.

— Очень хорошо. Поздравляю тебя с братцем. Сколько ж теперь у вас человек?

— Братец, да я, да Колька, да еще папа с мамой.

— Какая большая семья.

— Братец маленький . . . Красный . . .

Цвет живых существ прежде всего оставлял след в его памяти: «Курица черная», «Кошка серая», «Братец красный» . . .

После этого каждое утро малыш рассказывал какую-нибудь новость о братце:

— Братца Костей зовут.

— Глазками глядит.

— Плачет.

— Разговаривает.

— Так рано научился говорить?

— Плохо говорит, только: «А, а, а» . . .

До этого Ваня никогда не рисовал. А тут вдруг просит:

— Дай карандаш и бумагу, братцу мельницу нарисую.

Он провел по бумаге несколько черточек вдоль и поперек синим карандашом.

— Готова мельница!

Уходя домой, бережно положил листочек в карман.

— Коля, скорей, — нетерпеливо звал он старшего брата, чтобы немедленно порадовать маленького «братца».

НОВЫЕ ЛАПТИ

Они спустились в метро на станции: «Площадь Революции» — три благообразных великана в новых лаптях и белоснежных портянках. Один был с русой окладистой бородой, двое — чисто побриты и надушены тройным одеколоном.

Одежда на всех была странного покроя: для пальто — слишком коротка, для пиджака — слишком длинна. Это делало всех троих немного смешными. Каждый, взглянув на них, мог сказать:

— Издалека приехали.

Я шел за ними, наблюдая их удивление, трепет, восторг. Чувствовалось, что в метро они уже катались, но на этой станции были впервые. Она украшена скульптурой. Множество полукруглых ниш и в каждой — скульптурная группа в согнутом положении. Это вызывает чувство досады, недоумения. Скульптуру приятно созерцать в парках, в огромных залах, где много воздуха, света, простора. Здесь она кажется неуместной, своды давят на нее, пригибая и птичниц, и доярок, и спортсменов, и садоводов, изображенных скульптором.

Великаны не сразу сели в поезд. Они прошли всю станцию туда и обратно, останавливались, показывали пальцами на изображения, вздыхали.

Пропустив один поезд, они сели во второй. Я вошел в тот же вагон и сел напротив.

О московском метро писалось не мало. Станции — подземные дворцы, сидения — мягкие, плюшевые, поезда — бесшумные: в вагоне можно говорить даже шопотом.

Рядом с благообразными великанами сел чиновник лет тридцати пяти, приглаженный брюнет в синем бостоновом костюме. Около себя он положил солидный коричневый портфель с тремя блестящими замками. Он занял место, не подумав о соседстве. Оглядевшись и заметив мужиков в лаптях, слегка поморщился, хотел пересесть, но все места были заняты, да и неудобно было выставлять напоказ свою брезгливость.

— Издалека, мужички? — поинтересовался он, назвав лапотников по старинке, а не «товарищами», как принято теперь в бывшей России.

— Из Татреспублики, голубок, — ласково ответил бородач.

— По какому делу?

— На Сельско-Хозяйственную выставку приехали.

— Вот как?!

— Да, как мы, значит, ударники, район и послал нас: «Поезжайте, посмотрите на Матушку-Москву, а как приедете, все обскажете, что своими глазами увидали».

— Уже были на выставке?

— Сподобились, касатик.

— Ну, и как?

— Диво дивное, и сказать нельзя, какая красота . . . А ведь придет времячко, когда везде будет такая райская картина . . . Мы-то, конечно, не доживем, а наши внуки может и узрят. . . .

— Почему это внуки? . . . Вы что же думаете: благоустройство на периферии осуществится только лет через

пятьдесят? . . . Современная техника шагает не семиверстными, а стокилометровыми шагами. Первое чудо перед вами — это метро.

Чиновник развел руками. Все три мужика разом вздохнули и поспешно спрятали ноги под плюшевые сиденья.

— А я все-таки должен сделать вам замечание, уважаемые . . . (Он упорно не хотел называть их «товарищами», вероятно помня пословицу: «Гусь свинье — не товарищ») . . .

Мужики стали испуганно озираться: ведь замечание делают за какую-то провинность.

— Я ставлю вам вопрос ребром: почему вы приехали в Москву, да еще на Сельско-Хозяйственную выставку, в лаптях? . . . Неужели у вас не хватило сообразительности, что своим видом вы будете конфузить красную столицу?

Все трое покраснели до корней волос. Публика, ехавшая в вагоне, жадно прислушивалась к разговору. Многим хотелось осадить чиновника, но боялись. Кто его знает, какой он занимает пост? А вдруг следователь НКВД? Простая пешка не наскочила бы так на лапотников. А раз пробирает, значит, чувствует силу.

— Желанный ты наш, — начал оправдываться бородач, — кому ж охота щеголять в лаптях, но что ж поделаешь, если сапог ни за какие тысячи не достанешь? . . .

— Не городите вздора. Я грамотный, читаю газеты, и знаю, сколько выбрасывается обуви на рынок.

— На то вы и образованные, сынок, чтобы все знать. Не с нами же вам равняться: вы в Москве живете, среди вышней культуры, а мы что? . . . Темнота-матушка . . .

— Не так уж темны, как хитры!

— Побольше такта, товарищ, — не утерпел один из пассажиров, сидевших напротив. Он был в рабочем костюме и в засаленной кепке. Очень многие и глазами и же-

стами дали понять рабочему, что поддерживают его. Уж очень распоясался этот суб'ект с коричневым портфелем.

— Я разговариваю не с вами и будьте добры не вмешиваться, — огрызнулся чиновник.

Бородач достал из кармана платок и вытер пот с лица. Для всех было ясно, что этот пот не от высокой температуры (в вагоне было прохладно), а от внутреннего волнения, сознания своей «вины» и бессилия.

— Степан, скажи ты, — шепнул он своему земляку.

— Что ж тут долго говорить, — начал с достоинством крестьянин, — кто ж будет спорить, что продукции выпускается мало? . . . Да не доходит она до нас. В этом вся загвоздка. Сапоги . . . Да легче звезду с неба достать, чем в сапоги обуться . . . Привезут в кооператив десять-пятнадцать пар, а сколько начальников? . . . Больше сотни! Где ж это видано, чтобы рядовая масса обулась раньше своих вождей? . . . Им-то, болезным, и то приходится ждать по два, по три года, а про нас и толковать нечего . . .

— Ну, наконец, вы могли у кого-нибудь попросить напрокат, — не унимался обличитель.

— А какой же дурак даст сапоги человеку, который едет в Москву, в такую даль? . . . А вдруг несчастье случится, крушение поезда, к примеру, и мне колесами ноги оттяпает? . . . Сам-то сгину, горя мало, а коль сапоги пропадут, кто их вернет доброму человеку? . . . Он, может этого счастья двадцать лет ждал, и вдруг кому-то дать? . . . Об этом и думать нечего . . . Слава Богу, что липа в наших лесах водится . . . А липовые лыки — всем лыкам владыки, — как говорят старики. Из них лапти — одно загляденье. Вот поинтересуйтесь.

Все трое выставили ноги из-под плюшевых сидений.

— И сушим их, и мочим, и холим, и чистим, ленточку к ленточке подгоняем . . . Портяночки тоже новенькие. По

три пары с собой захватили, чтоб всегда, как первый снежок, белели . . . И веревочки специально для Москвы свиты: крутые, гладкие . . .

Слышалась горькая ирония в этих похвалах лыкам, портянкам и веревкам.

Один подземный дворец сменялся другим. Сверкали: мрамор, нержавеющая сталь, хрусталь абажуров. Входила и выходила публика — усталая, плохо одетая, молчаливая. На каждом лице было написано:

— Не такое сказали бы, кабы можно было . . .

Смелость колхозника многих удивляла: как он бесстрашно говорит о наболевшем.

Мне было приятно, что масса, хотя и молчала, но душевно была на стороне не обличителя, а обличаемых. Хотелось поговорить по душам с ударниками из Татреспублики. Но на станции: «Аэропорт», поклонившись своему строгому собеседнику и всем пассажирам, они вышли, напутствуемые доброжелательными взглядами.

1951 г.

В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ

В 1935 году был хороший урожай. Народ немного повеселел. Партийцы бахвалились «достижениями в социалистическом земледелии», хотя всего лишь два года назад голод на Украине выкосил миллионы жизней.

Меня пригласили принять участие в культбригаде, организованной «Крестьянской газетой». Бригада выехала на грузовике («обслуживать уборочную кампанию» на юге) во второй половине июля.

В машине разместилось 13 человек: шесть музыкантов, певица Ольга Ковалева, кинооператор, шофер, корреспондент «Крестьянской Газеты», руководитель бригады, его подруга и я.

Мы давали концерты на полевых станах, в колхозных клубах, на сельских площадях. Возглавлял бригаду безногий, совершенно дикий, алкоголик-орденоносец, партизан гражданской войны, Радченко, именем которого назван один из городов Воронежской области.

К народу его выносили из машины на руках участники бригады.

Наше путешествие продолжалось два месяца.

В станице Незамаевской, Ростовской области, мы договорились с партийной организацией о том, чтобы она сама намечала те колхозы, которые мы должны «обслужить».

— Только пожалуйста предупреждайте колхозное на-

чальство, чтобы оно само догадывалось предлагать нам питание, чтобы мы не были в положении нищих, выклянчивающих молоко и хлеб.

— Все будет в порядке, — пообещал нам секретарь.

В тот же день он созвал председателей колхозов. Мы слышали через стенку, как он убеждал их — быть гостеприимными.

— Смотрите же у меня! . . . Если только кто-либо из московской бригады пожалуется мне на ваше невнимание, пеняйте на себя . . . Поросята у вас найдутся?

— Как же может существовать колхоз без поросят? . . .

— Заколите! . . Зажарьте! . . . Угостите! . . .

— Постараемся, товарищ секретарь.

— Масло есть?

— Еще бы не быть маслу . . . тоннами в областной пентр вывозим.

— Не пожалейте масла, подмаслите . . . Мед есть?

— И медком можно разжиться . . .

— Подсластите медком. Поймите, что это москвичи, а Москва — это сердце и мозг СССР. Для московских гостей сделаем хорошо — и нам потом будет не плохо. Поняли? . . .

И вот мы в «показательной» коммуне Незамаевского района.

Какое уныние! . . . Степь. Ни одного кустика. Ни одного цветка. Саманные хаты, крытые соломой. Царство пыли и блох. Соленая вода в колодцах не годится для питья. Что же делают жители коммуны, что-бы не умереть от жажды? . . . Зимой они возят ледяные глыбы с отдаленных болот и зарывают их в землю. Этот лед идет на питье в жаркие, летние месяцы бездождья. Весною люди стараются собрать как можно больше дождевой воды. Когда она начинает портиться, ее употребляют на стирку белья.

В квартирах неуютно, грязно, тесно.

Нас привели в столовую с земляным полом. В ней два длинных, ничем не покрытых стола.

— Садитесь пожалуйста, подкрепитесь перед концертом.

Женщины вносят угощенье: в двух огромных эмалированных тазах — нарезанный большими ломтями ржаной хлеб. В двух — вареная свинина большими кусками. В двух — сливочное масло, наложенное конусами вышиною с аршин, и в двух — мед, — в каждом не меньше пуда.

Принесенным угощеньем можно было накормить целую роту солдат.

— Кушайте, дорогие гостечки! . . .

Вилок и ножей нет. Есть только столовые металлические ложки. Это значит, что мясо нужно грызть зубами, прибегая к содействию рук, а мед и масло задевать ложками.

Питья никакого.

— Попить бы чего-нибудь, — просит певица Ковалева.

— Сейчас принесем . . . В ведре на солнышке тает . . . Вот натает побольше и принесем . . . Марья, погляди, может уж натаяло? . . .

Марья выбегает из столовой и через минуту входит с ведром, в котором звенят льдинки. Ведро ставят на стол.

— Такую воду страшно пить: горло перед концертом перехватит . . . Нельзя ли согреть самоварчик? . . .

— Самоварчик? — тоскливо вздыхают три женщины.

— Марья, где твой самовар?

— На чердаке года три валяется . . .

— Ну, тащи скорей.

Марья куда-то убегает. Уходят и остальные. И вот мы слышим, как по всей коммуне начинается перекличка.

— Федор, поищи каких-нибудь палок или щепок — самовар москвичам согреть . . .

— Поищи сама, коль такая умная . . . Четыер года

живем без палок и щепок, а тут — накося, поищи . . .

— Не соломой же его ставить . . .

Вся коммуна ломает голову, каким способом приготовить самовар. Наконец, председателя осеняет догадка. Он берет топор и стесывает щепки с деревянных стояков, поддерживающих навесы для скота.

Кто-то предлагает:

— Степан, в вашей хэте — широкие лавки . . . Ну, куда вам такая ширь? Вполне можно сузить вершка на два . . .

— Ишь ты какой ловкий . . . Кабы мы на этих лавках только сидели, а то ведь и спим заместо кроватей . . .

— Ничего, хватит и этих щепок . . .

Приготовление самовара отнимает часа полтора. Наконец, его вносят в столовую. Он не чищен много лет и весь покрыт зелеными пятнами. Страшно пить воду из такого, но Ковалева все же наливает в кружку кипятку. Через минуту вскрикивает:

— Ой, да это же керосин! . . .

— Неужто пахнет? — удивляются женщины.

— Понюхайте.

— Да, пахнет . . . Ах, жалость какая . . . Керосином разжигали, вот и напортили — и вода пропала и щепки . . . И чайку вам не придется попить . .. А вы пейте сырую . . . Она у нас безвредная, изо льда . . . Лед, правда, болотный, но в земле полежамши, стал, как московская конфетка, наши ребятишки заместо леденцов сосут.

1949 г.

ШТАНЫ С ЦВЕТОЧКАМИ

В первых числах сентября, 1938 года я очутился в большом степном селе Лосево. Это один из районных центров Воронежской области.

В правлении колхоза: «Красные зори степей» ко мне подошел тощий, небритый, в линючем коричневом пиджаке, председатель.

Пред'явил ему командировочное удостоверение. Хозяин колхоза пришлепнул печать, сначала шумно подышав на нее. Без этой печати в Москве не выдадут командировочных.

— К Маюгиным!

Возница был из Бутурлиновки и не знал, где живут Маюгины. В качестве провожатого послали мальчика-рассыльного.

—Я знаю, почему товарищ Брыкин всех москвичей посылает к Маюгиным, — ухмыльнулся провожатый.

— Почему же?

— У них есть чем самовар ставить: «небель» для колхоза делают, много щепок остается.

Вошел во двор. Под соломенным навесом два верстака. Навстречу идет хозяин — приветливый, светловолосый, лет пятидесяти, бритый, хорошо пахнущий сосновыми стружками. Первый протянул руку.

— С приездом, товарищ, здорово вас на дороге запудрило . . . Анна! . . . Ставь скорее самовар, чтоб и помыться и чайком побаловаться.

Из дому вышла хозяйка — ладная, чисто одетая брюнетка с прямым пробором, в белом платочке. Поздоровавшись, пригласила в комнату. В доме было необычно чисто. Чувствовался во всем достаток.

— У вас совсем не по колхозному, — удивился я.

— Да, потому что семья небольшая, всего четыре человека и все «штатники» . . . Круглый год работаем. Я — дояркой, муж — столяром, сын бригадиром, а дочь избой-читальней заведует. В год около двух тысяч трудодней выгоняем, жить можно, не то, что другим . . . Не дай Бог, если в семье куча ребятишек, а работа только сезонная. Бьются, бьются люди, но даже для прокормления себе заработать не могут, зубами щелкают, водицей пробавляются . . . Нам, конечно, все завидуют . . . Иной раз даже неловко перед соседями.

У двора собралась толпа — поглазеть на приезжего. Умывшись, сел на лавку у окна. На завалинку лезли малыши — грязные, оборванные.

Поодаль от окна стоял парень лет семнадцати, с пробивающимися усиками. Он был в залатанной серой рубашке и в ситцевых голубых штанах с розовыми цветочками.

— Чей это хлопец?

— Мой, — смиренно сказала только что вошедшая с улицы пожилая, застенчивая женщина.

— Почему в таких штанах?

— Слава Богу, что хоть такие помогли добрые люди сотворить . . . Все лучше, чем ничего. Одни у него были и в праздник и в будни. Три года назад справила. Износились до того, что уж и штопать нельзя: куда ни ткни

иголку — ползут . . . А тут послали паренька на тяжелую работу: старые кулацкие сараи ломать. Поднатужился мой Федяка, стал столбы из земли выворачивать, а штаны-то возьми, да и расползись сразу по всем швам и заплаткам . . . От стыдобушки парню хоть в землю провалиться . . . Хорошо, что неподалеку тыквы росли. Нарвал листьев тыквенных, обвешался, как артист, прибежал домой и в рев:

— Где хочешь, штаны доставай, а то удавлюсь.

— А где ж их достанешь? Небось, не прежнее время: пошел в лавку, уплатил за отрез, что полагается, и горюшка мало, к вечеру штаны готовы — хочешь, в хоровод иди, хочешь — на вечорки! . . . Господи, жизнь то какая была, помирать не надо! . . . А теперь из-за отреза на штаны ночей не спи, слезы лей, начальство проси, соседям докучай . . .

Как прибежал он листьями-то изукрашенный, на меня чуть «омрак» не накатил. Что делать? Чем голь прикрыть? Все старые тряпки перетрясла, вижу — не из чего . . . Пришла вот к ним (рассказчица указала на хозяйку): «Спасите паренька от удавки, продайте, что самим не нужно» . . . Достала Анна из сундука старинный пробабушкин сарафан. «Коль это сгодится, бесплатно бери» . . . «— Все, — говорю, — сгодится, а что цветочки на ситце, не беда, все лучше, чем листья тыквенные . . . Дай тебе Бог доброго здоровья» . . . В тот ж день на скорую руку сшила, а парень в это время в чулане сидел, чтоб никому на глаза не показываться . . . Теперь вот уж другую неделю щеголяет . . . А разорвутся эти, не знаю, как из беды выкручиваться буду.

Рассказ крестьянки вызывал смех сквозь слезы.

1951 г.

МИРОВАЯ ЗАКУСКА

Ранней весной 1940 года Центр разослал по селам постановление правительства «О всемерном внимании огородным культурам». В постановлении было перечислено до сорока различных овощей. В конце декрета сельское население Советского Союза предупреждалось, что все названные овощи, начиная с этого года, должны будут в обязательном порядке «поставляться» государству.

В колхоз: «Народная Воля» постановление привез сам начальник районного НКВД — хмурый, темнолицый, высокого роста, с густыми серыми бровями.

Вечером в нардоме состоялось экстренное собрание колхозного актива. В актив входят все бригадиры, звеньевые, конюха, свинарки, доярки, все чем-либо отличившиеся, отмеченные властью, все колхозные говоруны.

Начальник огласил постановление.

— Кто хочет взять слово в порядке обсуждения? — спросил он после короткой паузы и пристально оглядел собравшихся.

Все, потупаясь, молчали. Что можно сказать о новом повелении из центра? Раз приказывают, делай. Какие могут быть разговоры?

— Не можете раскачаться? . . . Подожду пять минут, — буркнул начальник.

Активисты толкали друг друга в бок:

— Ну, скажи чего-нибудь.

Но язык ни у кого не развязывался, даже у партийцев.

— Так? . . . Значит, историческое постановление партии и правительства об огородных культурах сделало всех немыми?

И тогда, спасая положение, поднял руку конюх Ефим Белоножкин — весельчак, шутник и общий любимец. Это был широкоплечий румяный крепыш с маленьким вздернутым носом, синими глазами и русыми кудрями, падающими на лоб. Как бывший моряк, он знал много анекдотов.

— Дай брякнуть словечка два, товарищ начальник!

Все вздохнули с облегчением: ну, слава Богу, свалилась гора с плеч, теперь можно не наклонять головы, а глядеть прямо в глаза приезжему.

— Что ж тут можно сказать? — начал Ефим, — окромя спасиба сказать нечего . . . И все мы, как один, заявляем с чистым сердцем: «Спасибо нашему дорогому центральному правительству и с любовью низкий поклон от бела лица и до сырой земли» . . . Ведь мы ж не чурбаны, а сознательные твари и хорошо понимаем, как заботится о нас власть . . . Ой, как она заботится о всех трудящих: днем на минутку не присядет, ночью глаз не сомкнет, все думает и думает, как бы получше нашу жизнь устроить и наладить . . . И вот наши благодетели решили: «Как живут колхозники? . . . Хорошо живут! . . . Но мы не желаем, чтобы они жили хорошо!» . . .

Белоножкин сделал паузу. Все замерли: батюшки мои, да что же это он такое брякнул?

Начальник настороженно вскинул брови.

— Да, мы не желаем, чтобы они жили хорошо . . . мы желаем, чтобы они жили отлично! — отчеканил Белоножкин.

— Уф, — невольно вырвалось из каждой груди.

— Как нам «леагировать» на золотые думки московского кремля? . . . Давайте радоваться и веселиться, как в прежнее время на Рождество, на Пасху и на Троицу. Сами подумайте: с начатия колхозов мы каждый год сдаем государству только хлеб, мясо, фураж, молоко, масло. Каждый год одно и то же. Ведь это скучно, товарищи! . . . А когда человеку скучно, хорошего от него не жди: ему всякая чепуха лезет в голову. Только от веселых польза и толк! А вот теперь правительство решило ликвидировать нашу скуку и дать нам веселье. Теперь мы будем разводить в колхозах не только помидоры, морковь, картошку и огурцы, но и шпинат, и сельдерей, и пастернак, и спаржу, и шампиньоны и артишоки . . . Слова-то все какие благородные, культурные, интеллигентные. Вовеки не слыхивали таких и вот сподобились . . . И теперь мы с вами будем не просто сиволапые колхозники, а вроде как бы образованные агрономы! . . . Но, как говорится, и на Машку бывает промашка. Промахнулись и наши благодетели: всякую овощу в декрет вставили — русскую и заграничную, а про самую-то главную и забыли . . .

И опять хитрая пауза и недоуменные взгляды всего актива и начальника.

— Догадались, о какой овощи хочу сказать? . . . Не догадались? . . . Эх, вы . . . Какие ж вы русские? . . . Почему в список не вставлена редька? . . . Да ведь это же мировая закуска! Сами знаете поговорку: «Редька триха, редька ломтиха, редька с квасом, редька с маслом, редька эдак, редька так» . . . Доводилось и нам читать, как в Кремле по большим праздникам торжественные обеды бывают, и каких знаменитых, заграничных гостей на эти обеды приглашают . . . Как же в таком разе обойтись без редьки? . . .

Не одну же черную икру уплетать за обе щеки . . . Икра — штука дорогая, а редька, можно сказать, ничего не стоит . . . И вот я предлагаю, товарищ начальник: не забудьте, вставьте редьку в центральный декрет . . . Ну, и, конечно, да здравствуют все наши вожди-благодетели и в первую очередь — товарищ Сталин!

В продолжение всей речи Белоножкина активисты кусали губы, чтобы не рассмеяться. Начальник хмурил брови.

— Все? — холодно спросил он конюха.

— Да как-будто все выложил, что на душе лежало . . .

— Я думал, будет что-то серьезное, а вместо этого услышал зубоскальство.

Он встал и, не попрощавшись, вышел. Кое-кто из активистов развел руками:

— Молчишь — плохо, а заговоришь — еще хуже . . .

На другой день Белоножкина увезли в НКВД.

— Дошутился, доактивничался, — испуганно перешептывались колхозники, — наверно повезли разводить редьку для кремлевских праздничных обедов.

1949 г.

Ж А Ж Д А

Октябрь. С утра холодный, мелкий дождь.

Я шел в колонне военнопленных. Нас вели по русским дорогам — проселочным, извилистым, узким.

В каждой шеренге было по четыре человека. Все были в шинелях. Но я не успел получить шинели перед боем и попал в плен в короткой стеганке. Дождь хлестал меня по коленям. Промокла тонкая летняя пилотка. Вода затекала за шею. За плечами висел походный мешок. Это было мое спасение: в мешке я нес полученные из Москвы накануне боя сухари.

Отставать было страшно: всех таких немедленно пристреливали. В пути, справа и слева от дороги, мы видели десятки убитых.

Вышли на широкий большак. Здесь трупы попадались чаще. Многие лежали кверху лицом. У некоторых были открыты глаза. Дождь обмывал убитых. Струйки чистой воды текли по щекам. Казалось, что убитые плачут.

Хотелось пить. Мы были мокры не только от дождя, но и от пота. Позади осталась длинная дорога, а мы шли и шли, качаясь от усталости и беспредельной тоски. Конвоиры менялись. Командование считало, что сытый солдат победитель может устать, а голодный, не евший три дня,

промокший до нитки военнопленный должен забыть об усталости, если не хочет лежать возле дороги и плакать дождевыми слезами.

В каждой деревне возле калиток и окон на нас смотрели молчаливые, грустные женщины. Они ничем не могли нам помочь. — Страдальцы, — слышался тихий шопот там и тут. Все, чем они могли порадовать нас, была вода. Они выносили ее ведрами. Но пить нужно было на ходу, не отставая от колонны. Человек, шагая, тянул драгоценную жидкость из кружки, а женщина, тревожно оглядываясь по сторонам, шла за ним, чтобы взять кружку и напоить другого.

В одном месте мы увидели колодец. Колонна рассыпалась. Все ринулись к колодезному срубу. Кто-то схватил бадью, прикрепленную к деревянному шесту. Колодезный журавль уже наклонился над срубом, но в это время раздалась стрельба конвоиров и окрики: «Лос! Лос!» Воды не успели зачерпнуть. Пустая железная бадья, стремительно вылетая из сруба, стукнула по подбородку того, кто мечтал напиться первым и раздробила ему челюсть. Он упал со стоном, окровавленный. Подбежавший конвоир пристрелил его, как главного виновника беспорядка.

Когда стало темнеть, нас загнали в коровники опустевшего совхоза и приказали ложиться. В каждом стойле можно было улечься троим. У моих соседей были шинели. Каждый прикрывал меня кусочком полы. Ночью дождь сменился снегом. Снежинки залетали в щель между стеною и полом. Было тоскливо, холодно и безнадежно.

Засыпая, загадал: пусть сновидение подскажет, останусь ли живым. Приснился пробегающий московский трамвай, переполненный пассажирами. Трамвай летит, не делая

остановок. Я цепляюсь на ходу. Сначала вишу, как все, потом пробираюсь внутрь.

Проснувшись утром, с радостью подумал:

— Значит, все-таки зацеплюсь, не соскочу, проникну внутрь . . .

Сон не обманул: я «зацепился»: не умер в лагере военно-пленных, где хоронили ежедневно от 400 до 600 человек. Уцелел и в ди-пи лагере, где так усиленно охотились за мною красные. Американцы не поверили многочисленным доносам на меня. Я попал в Америку. Я не вишу здесь на подножке жизни, а еду «внутри», вознося благодарность Творцу за все Его милости.

1954 г.

ЖИЗНЬ ТАТЬЯНЫ

Несколько недель после похорон мужа Татьяна приводила в порядок дела покойного: рассылала долги, писала письма многочисленным родственникам, спрашивая, что бы они хотели получить в наследство. О себе не думала, как сложится дальнейшая жизнь, не знала.

— Приберегите что-нибудь и на свою долю, — советовали знакомые.

— Много ли надо одинокой, молодой, бездетной женщине, умеющей работать? — с улыбкой отвечала Татьяна своим доброжелателям, — деньги я никогда не любила, с тех пор, как осталась круглой сиротой.

* * *

После почти одновременной смерти отца и матери, Таня в четырехлетнем возрасте была взята на воспитание дядей лавочником. Жадная тетка возненавидела племянницу, боясь, что теперь она будет тащить из лавки всякие сладости. Но девочка не любила ни конфет, ни пряников. Ее лакомством была всякая зелень с огорода: гороховые стручки, огурцы, репа, морковь. Набрав полные карманы огородной снеди, девочка выбегала на улицу и оделяла сверстников и сверстниц. Тетку это бесило, а дядя радовался.

— Вспомни себя, — говорил он, — когда ты была в таком возрасте, разве ты давала кому-нибудь хоть горошинку? Каждый малыш всякую малость тянет себе, а эта с малых лет раздает.

— Так она пустит нас по миру.

— Гороховыми стручками и морковкой? Думай, о чем говоришь и побойся Бога.

Однажды, когда девочке было семь лет, к дому подошел благообразный старичок и попросил напиться. Дядя и тетка были в от'езде. Девочка сказала:

— Зайдите, дедушка, на кухню. Вы наверное очень устали? Может быть хотите покушать?

— А чем же ты хочешь меня угостить?

— У нас в огороде есть огурцы, горох, морковка.

— Не по моим зубам все это, Добруля.

— Меня зовут Таней.

— Хорошее имя, но мне хочется добавить к нему другое: Добруля.

Старичок стал спрашивать ее о жизни, о родственниках. Она рассказала, как умерли родители и как после этого ее взяли к себе дядя и тетя.

— Любят они тебя?

— Да.

— Ты их слушаешь?

— А как же можно не слушать старших?

— О, да ты, оказывается, рассуждаешь, как взрослая . . . Скажи мне, Добруля, чего бы ты хотела больше всего на свете?

— Чтобы не было бедных . . . голодных . . . нищих . . . Чтобы все люди не ругались . . . Чтоб богатые жалели сирот . . . Дедушка, вы наверное вспомнили свою маму и своего папу? . . . Почему вы плачете? . . .

— От счастья, что познакомился с тобою. Когда вернутся твои дядя и тетя?

— Теперь уж скоро. А вот как раз и вернулись.

На кухню вошли хозяева. Тетка недружелюбно посмотрела на племянницу: вот так приведет какого-нибудь чужого человека, а он потом ночью нагрянет со своими друзьями и обчистит весь дом.

Старик понял, что девочкой недовольны и начал сразу оправдывать ее.

— Золото у вас растет. Попросил стакан воды, а она закусить мне предложила, да только закуска оказалась не по моим зубам . . . Но это ничего, я не голодный. Приехал из соседнего города. В здешний монастырь шел, насчет завещания потолковать. Человек я одинокий. Родных у меня нет. Вот и хотел все нажитое подписать монастырю, чтоб молились за мою душу каждую обедню и вечерню. А теперь вижу, что Господь этого не хочет. Лучше будет и для Творца и для моей души, если все это я завещаю вашей племяннице Добруле.

— Танюше, — поправил старика дядя.

— Знаю, знаю: Танюша она для мира, а для Бога — Добруля.

* * *

Старичок подписал на имя девочки пять тысяч. Вскоре он умер. Таня всегда молилась за упокой души чужого дедушки Семена. Тетка стала относиться к ней по другому. Девочка окончила местную прогимназию. После этого, на несчастье, в нее влюбился пожилой вдовец. Дяде и тетке очень хотелось, чтобы она вышла за него замуж. Сирота, не желая их огорчать, дала согласие. Муж был на много старше ее. Однажды он решил прокатиться с нею

на пароходе от Одессы до Новороссийска. Когда пароход остановился против Ялты, многие на шлюпках отправились в город. Муж не взял Тани, боясь, что в чужом городе она убежит от него. Молодая жена издали смотрела на город и горько плакала. Подошел капитан:

— Милая девочка, ты огорчена, что папа не взял тебя в Ялту?

— Это не папа, а муж.

Пораженный таким сообщением капитан сказал:

— Как много нелепого и страшного в этом мире.

Он повел Таню в свою каюту и стал угощать фруктами. Доброта чужого человека заставила ее плакать еще больше: от доброты она всегда плакала.

Муж вернулся пьяным, с сигарой во рту, а Таня не любила ни пьяных, ни курящих.

Позже они переехали в Харбин. Муж поступил на Восточно-Китайскую железную дорогу с хорошим окладом жалованья. Таня работала в больнице сестрою. Счастья у них не было, хотя они никогда не ссорились. Она боялась мужа вплоть до его смерти.

* * *

Месяца через полтора после похорон Татьяна шла тротуаром по улице, сплошь заселенной русскими. В кармане у нее было 500 рублей. Из одного дома до нее донеслась ругань. Она невольно остановилась. Почему-то прислушилась, хотя до этого никогда не любила подслушивать чужих разговоров.

— Вы обманщик и проходимец! — кричала на кого-то женщина, — просили денег на две недели, но не хотите платить даже через месяц . . .

— Так сложились обстоятельства . . . Я не отказыва-

юсь от долга . . . В ближайшее время я уплачу вам не только 500 рублей, но даже и проценты на эту сумму. Болезнь жены и ее похороны расшатали мое материальное положение, но уверяю вас, это временно . . . Если бы не плата за пансион дочки, я уже расплатился бы с вами . . . Но ведь девочку на улицу не выгонишь, а родных у меня нет . . . Посмотрите на все это не как заимодавица, а как человек . . .

— Прошу не поучать меня, сейчас век не сентиментальности, а строгих обязательств: брали на определенный срок, так будьте добры уплатить . . . Меня совершенно не интересуют ваши обстоятельства . . .

У Татьяны загорелось сердце. Она не могла больше терпеть и непрошенной вбежала в комнату, где происходила ссора из-за денег. Миниатюрная, с пышными русыми волосами, в легком белом платье, она казалась ангелом, слетевшим с неба. В комнате стояли лицом к лицу — с растерянным видом интересный на внешность мужчина лет 35 и толстая женщина с отвисшим подбородком.

— Простите, милостивый государь, — смущенно начала Татьяна, — это вы похоронили недавно жену?

— Да, но почему вас это интересует?

— Я случайно узнала о ваших материальных затруднениях и хочу выручить вас из беды . . . Вот . . . Здесь как раз та сумма, которая вам нужна . . . Можете не возвращать этих денег . . . Желаю вам счастья . . .

Она выбежала из комнаты так же неожиданно, как вбежала в нее.

Спохватившийся мужчина через минуту устремился за нею, чтобы спросить имя и адрес, но она, как в воду канула.

— Есть святые даже в наше грешное время, — с волнением говорил осчастливленный вдовец, возвращаясь в комнату.

— Какая-нибудь авантюристка, искательница приключений, — с презрением и завистью изрекла заимодавица.

Должник пересчитал деньги. Ровно 500.

— Получите. Верните пожалуйста расписку.

* * *

С тех пор он искал ее всюду. Всех расспрашивал о женщине малого роста с пышными русыми волосами. Поиски и расспросы ни к чему не приводили. Стал молиться: «Господи, помоги мне встретить ангела в образе молодой женщины». Бог услышал молитву: они встретились на главном почтамте. Он только что входил. Она выходила. Сразу узнали друг друга. Она хотела проскользнуть незамеченной среди выходивших.

— Умоляю: не убегайте! — крикнул он. Тогда она остановилась.

— Не начинайте с благодарностей. Вообще, забудьте об этом. Я очень рада, что в тот день я шла как раз той улицей. Это было впервые за все то время, что я здесь живу. Значит, это неспроста: меня направил туда Бог, Он знал, что вы страдаете и нуждаетесь в поддержке. Так что благодарить нужно не меня, а Бога.

— Я не перестаю это делать. Он устроил и эту встречу. Не хотите ли зайти в кафе?

Она не протестовала, потому что верила: у него благородные намерения — расспросить о ней, рассказать о себе.

Они просидели вместе несколько часов. Делились своими переживаниями. Она видела, как горели его глаза. Иногда он смахивал с ресниц слезы. Обменялись адресами. На прощанье, проводив ее до дома, он сказал, что ему было бы весьма больно потерять ее из вида.

Он стал ей писать. В первом же, огненно-лирическом

письме сделал предложение. Она ответила, что не хотела подкупать его своим вниманием и предлагала оставаться только друзьями. Следующее письмо было не только признанием в любви, но и воплем — «спасти его вторично». «Первый раз вы спасли меня от материальной безвыходности. Но душевная безвыходность страшнее. Господь устроил нашу встречу вероятно не для того только, чтобы вы помогли мне выпутаться из долгов, а, главным образом, для того, чтобы вы стали моей подругой до конца наших дней» . . .

Она побоялась дать согласие и в этот раз. В третьем письме он сообщал, что уезжает в Америку. «Прошу в последний раз: поедем вместе, как муж и жена. Если здесь я не смогу найти себе подруги, то в Америке тем более. Не оставьте меня вечным сиротой».

Она согласилась. Они повенчались, а через две недели были уже на пароходе. Девочку взяли с собой.

* * *

Он не знал английского языка. По приезде в Новый Свет она сказала:

— Я буду работать, а ты учи язык. Ни о чем не думай, кроме языка. Занимайся столько часов, сколько можешь осилить. Можешь взять двух или трех учителей, которые будут заниматься с тобой попеременно. Думаю, что в три года ты станешь настоящим американцем.

— Неужели ты все три года будешь работать одна?

— Готова работать и четыре года, и пять лет, и шесть . . . Мне будет доставлять радость сознание, что, усвоив в совершенстве язык, ты можешь поступить в университет, по окончании которого получишь диплом инженера. Тогда настанет моя очередь — отдыхать. Согласен?

— А как же быть с совестью? . . . Она не даст мне

покоя, что я тебя изнуряю ради проблематического будущего . . .

— Милый мой, успокойся. Только мой план обеспечит нам человеческую жизнь в новой стране. Я уступила твоей просьбе перед от'ездом в Америку. Уступи теперь и ты мне: учись, а я буду работать.

— Добруля ты моя бесценная.

— Кто сказал тебе это слово?

— Сердце.

Она засмеялась.

— Почему тебе смешно?

— Эту кличку мне дал один старичок, когда мне было семь лет. Тогда я подала ему стакан воды и предложила гороховых стручков, от которых он отказался . . . Через восемнадцать лет тем же словом меня называет другой человек: мой муж . . .

— В этом нет ничего удивительного: где бы я ни был, я называл бы солнце только солнцем.

С тех пор всех женщин муж разделил на два сорта: в первом были «Добрули», во втором — «Злобули». Когда они гуляли вместе, он тихо шептал:

— Посмотри, вон идет «Злобуля», а та, другая — «Добруля» . . .

— Почему так думаешь?

— Да это же сразу видно. Все Добрули излучают какое-то особенное сияние . . . Я увидел его впервые над твоей головой в момент нашей первой, незабываемой встречи, когда ты впорхнула в комнату неземным видением . . .

* * *

Дочка радовала отца и мать успехами в школе. Английский язык усваивался мужем легко и быстро: сказывались

сравнительно молодые годы ученика. Татьяна поступила в мастерскую модного платья, получая сдельно. Быстрей ее не работала ни одна женщина в мастерской: ведь ей одной нужно было зарабатывать и на питание для троих, и на одежду, и на оплату квартиры.

Привычка детства — отдавать предпочтение растительной пище — сохранилась и в Америке: она не ела мяса, варенья, конфет, белого хлеба. Все самое вкусное отдавала мужу и девочке.

— Ну, разве ты не Добруля, мамочка? — говорила дочь, — как правильно придумал это слово папа.

В университет муж поступил через полтора года. А еще через пять лет стал инженером-электриком, получив место в Нью Йорке. Сначала они сняли квартиру в Бруклине, а через год переселились на Парк Авеню. План Татьяны осуществился полностью. Дочь к этому времени вышла замуж за богатого испанца. Вскоре молодые уехали в Аргентину. Жизнь Татьяны с мужем текла ровно, спокойно. Он прекрасно зарабатывал. — Куда девать деньги? — думали они. По газетам знали, что русские в Европе живут не сладко. Стали отправлять посылки и денежные переводы во Францию, Германию, Чехию, Бельгию. Пробовали связаться с Советским Союзом, но из этого ничего не вышло.

Муж и жена были глубоко верующими. Это были христиане не на словах, а на деле. Думать о себе было как-то неловко, когда в мире столько горя и слез.

Через тридцать лет совместной жизни он умер от разрыва сердца. В день смерти ему было около 65 лет. Горе отняло у Татьяны практическую сообразительность. Она решила, что и ее жизнь теперь кончилась. Все приобретенное за долгие годы показалось лишним, ненужным, обременяющим, пустым, нелепым . . . На следующий же день после похорон мужа она принялась раздавать ковры, картины, посуду, книги, мебель. Легковую машину подарила священнику, который хоронил мужа. Мужнины костюмы и белье раздавала знакомым и чужим, которые, прослышав о доброте вдовы, осаждали ее квартиру с утра до вечера.

Апартмент в 7 комнат теперь был ненужен. Она переселилась в трехкомнатную квартиру. Каждый день посещала кладбище. В сороковой день ей было особенно грустно.

— Жизнь потеряла всякий смысл, — решила она. Достав из сумочки сонные порошки, высыпала их на ладонь, приготовившись проглотить и уснуть тут же, рядом с мужем. Кто-то, подбежав, ударил ее по руке.

— Что вы делаете?

— Русский? — удивилась она. Перед нею стоял старик лет семидесяти, очень похожий на дедушку Семена. У него дрожали руки. Он был изможденный, казался простуженным.

— Мы похоронили своих близких в один день: вы — мужа, я — жену. Теперь я одинок. Вот уже неделю болею гриппом, но сегодня, в сороковой день кончины жены, решил превозмочь свою болезнь . . . Что вы хотели сделать?

— Принять яд: мне не для чего больше жить.

— Как? Разве в мире нет больше больных, голодных, обремененных душевными терзаниями? . . . Когда я лежу в постели, мне никто не может подать стакана воды . . . Как был бы я счастлив, если бы вы навещали меня . . .

— С радостью . . . Спасибо, что ударили меня по руке . . . Это было минутное затемнение рассудка . . .

Татьяна стала ухаживать за одиноким соотечественником. Она делала это с такой предупредительностью, терпением и самоотверженностью, что однажды он невольно назвал ее Добрулей.

Это было — третий раз в ее жизни.

Как-то он сказал:

— Почитайте мне что-нибудь.

— Есть ли у вас евангелие? — спросила она.

— Нет.

— Неужели вы прожили всю жизнь без этой книги?

— Читал в школьные годы, на уроках.

— Вы потеряли очень много, но еще можно кое-что наверстать.

Она оставила больного и поехала домой за библией. Вернувшись через полтора часа, открыла пятую главу евангелия от Иоанна, в которой рассказывается о расслабленном, страдавшем 38 лет. Он жаждал исцеления, но не имел близких, которые могли бы опустить его в купальню, когда ангел возмущал воду. Христос исцелил больного. 38 лет человек лежал беспомощным, но по слову Спасителя стал здоровым.

— О, если бы Он исцелил и меня, — вздохнул больной.

— Давайте помолимся вместе. Вы лежите, а я преклоню колени. Будем каяться в грехах. О, сколько их налипло на наших душах! . . . Я видела однажды в доке нижнюю часть океанского корабля. Он весь был в ракушках, молюсках, наростах . . . Все это, налипшее за многие годы, не раз'едает стенок корабля. Все это можно соскоблить. Хуже обстоит дело с наростами на нашей душе. Они отравляют нас, отдаляют от Бога, делают беспечными, слепыми, глухими, немудрыми. Будем каяться, будем просить об исцелении от всех смертных недугов.

Долго и горячо молилась она. Слушая молитву, больной плакал.

— Помолитесь и вы.

— Боже, милостив буди мне грешному.

С того дня Библия стала для них родником, из которого они пили с благодарностью и радостью.

Никому не годится этот рассказ

ЛЮБОВЬ СВЯТАЯ

За двух'этажным старинным домом из темных дубовых брусьев огромное черемуховое дерево. Ветки ложатся на крышу и заслоняют кухонные окна. В начале мая от него на всю улицу первый весенний аромат.

Во всех комнатах в эту пору стоят вазы с широкими пышными букетами черемухи. Миндально-горьковатый запах наполняет весь дом весенней свежестью. Цветы осыпаются на скатерти и на пол мелкими снежинками. Когда цветет черемуха, говорить хочется только о красивом и возвышенном.

На вершине дерева несколько скворешников. Черные птички во время пения поднимают клювы и топорщат от восторга крылышки, отчетливо выделяясь среди белой пены цветения.

Вдоль заборов и перед домом — акация и сирень. Они зацветают попозже. У акации цветочки невзрачные, желтенькие, но без нее не обходится ни один палисадник, может-быть потому, что дети из жестких стручков любят мастерить пронзительные свистульки.

Сирень сладкая, пьянящая, влекущая к чему-то неизведанному. Подойдешь к кусту, сдвинув, наклонишь ветки, погрузишь лицо в цветы и стоишь, как завороженная.

В самом конце сада могучий дуб. Весною на нем кричит

филин. Соловьи в ближайшем парке щелкают, заливаются всю ночь. А ночи светлые, прозрачно-голубые. Северные. Мелькают летучьи мыши. Дети по вечерам закутываются в простыни и двигаются, как привидения: мыши будто бы любят белое, но за много лет не удалось поймать ни одной

После заката солнца там и тут стучат колотушки. Звук мягкий, булькающий, успокаивающий, как мартовская капель с крыш. Под это туканье хорошо спится.

Наша семья переселилась в Старый Петергоф после смерти бабушки. Кругом сады, поляны, лужайки. Мать радовалась:

— Свежий воздух, есть где порезвиться детям после уроков.

Дом был обставлен тяжелой мебелью в старинном вкусе. Стулья с высокими спинками и такие тяжелые, что трудно сдвинуть. Посудный шкаф во всю стену. Когда-то у дедушки была мебельная фабрика. Для себя мебель делали лучшие мастера. Шкаф был привезен в дом частями и соединен уже на месте, иначе не влез бы ни в какую дверь. Вся мебель была украшена резными барельефами, изображавшими уток, фазанов, зайцев, охотничьи принадлежности.

По переезде в дом двадцать четыре стула были проданы, чтобы не надрываться над ними прислуге, а шкаф оставлен к радости брата: он стрелял из рогатки в резных уток и зайцев.

По соседству жил священник. Семья батюшки и наша запросто бывали друг у друга. У батюшки было трое детей: моя подружка Гранечка и два сына, товарищи моего брата Георгия. Мы с Гранечкой учились в одной из петербургских женских гимназий, наши братья — в мужской.

Отец работал инженером в Петербурге. Виделись мы с ним только вечерами и в праздники.

Нянька Савельевна появилась у нас с рождения брата. Кухарка Даша жила восемь лет. Они считались членами нашей семьи. Отца и мать называли не «барин» и «барыня», а по имени и отечеству. У нас не любили разделения на хозяев и слуг.

Сестра матери, тетя Надя, быстро овдовела. Жизнерадостная, юная на внешность, живая и остроумная — она легко покоряла мужчин. Возле нее увивалось много женихов, но сердце тети Нади выбрало поручика Кавалергардского Его Величества полка, Сергея Сергеича. После свадьбы они поселились у нас. Дом ожил. Семья стала большая.

Мы с Гранечкой обожали Пушкина и каждой весной, как только появлялись подснежники, несли к его памятнику в Летнем саду несколько букетиков. Стояли долго у постамента, обнявшись. Нам казалось, что мы «Татьяна» и «Ольга». Ольгой была, конечно, я. Гранечка про меня говорила:

— Ты, Мурочка, не способна к грусти томной.

Гимназисты и реалисты интересовали нас уже с первого класса. Мы на ходу совали им записочки, назначая свидания у калитки. Родители не возбраняли нам приглашать сверстников в дом: старшим хотелось знать, с кем мы дружим.

Охлаждение к мальчикам началось с тех пор, как на петербургских улицах и площадях мы стали встречать гвардейских офицеров, улан, кирасиров, гардемаринов и пажей. Какой-нибудь красавец в полной форме величественно пройдет, посмотрит покровительственно сверху вниз и сердце сразу замрет в дымке мечтательности.

Сергей Сергеич был высокого роста, стройный шатен. Серые большие глаза, длинные темные ресницы, мягкие черты лица, подстриженные щеточкой усы, никогда не сходившая улыбочка в углах рта — все в нем было гармонично и на редкость привлекательно. Малиновый звон

шпор казался лучше соловьиного пения: так бы и слушала.

Когда Гранечка сидела за нашим столом во время чаепития, мы не спускали глаз с Сергея Сергеича. Оставшись вдвоем, начинали говорить о его достоинствах. Так появилась первая тайна в нашей жизни: ведь о нашем преклонении перед ним никто не знал и не догадывался. Закончив уроки, мы спешили друг к другу, чтобы поговорить о предмете нашего общего увлечения.

— Ты обратила внимание, Гранечка, какой он был очаровательный, когда в последний раз уезжал в Петербург?

— Я уверена, Мурочка, что он самый красивый из всех петербургских офицеров!

Влюбленность в Сергея Сергеича все больше сближала нас с подругой. Он ничего не замечал, но был ласков с нами, внимателен к нам, как к подросткам, не подозревая, что все наши помыслы заполнены им.

Признаться ему в наших чувствах было страшно: а вдруг узнают братья? Засмеют, проходу не будут давать.

Мы страдали, что он ничего не знает. Надо поставить его в известность, но как? Написать письмо? А вдруг он покажет его тете, а тетя — маме, а мама — папе?... Ой, нет, страшно даже представить! Лучше признаться устно, когда будет подходящий момент.

Теперь мы жили ожиданием этого момента.

Однажды в воскресенье Гранечка с утра прибежала ко мне. Все вместе пили чай. Из-за стола вышли один за другим отец, брат, мама, тетя Надя. Остались только Сергей Сергеич и мы. Он читал газету. Все время шумевший самовар, пискнув последним тоненьким голоском, замолк. Пришла няня.

— Ну, что расселись? Шли бы к себе в комнату и делали, что надо.

— Неужели сорвется? — со страхом подумали мы.

— Сейчас, нянечка.

Старушка ушла. Мы наблюдали за ресницами Сергея Сергеича: поднимет и опустит — так бабочка, сидя на цветке, взмахивает своими пушистыми крылышками. Лицо показалось еще красивее. Теперь мы окончательно убедились: да, таких мужчин нет больше во всем мире! От несдерживаемой радости одновременно хихикнули.

Он взмахнул ресницами и посмотрел на нас спокойными серыми глазами, полными доброты.

— Что вас рассмешило, девочки?

— Просто, так, — покраснели мы и замялись.

Видя наше смущение, он спросил:

— Ну, а все же?

И улыбнулся. Тогда я решилась. Сжав до боли гранину руку, выпалила:

— Потому, что у вас очень красивые глаза и весь вы очень красивый . . .

— Уф, вздохнула Граня, как будто не я, а она об'яснялась в любви. Он снова улыбнулся:

— Наверное действительно красивый, если на меня нельзя смотреть без смеха? . . . Не правда ли?

Все трое расхохотались.

Видя его снисходительное отношение к нам, я совсем расхрабрилась:

— Сергей Сергеич! Мы с Граней очень вас любим!...

Замерли. Было так неловко и стыдно, что чувствовали, как пылает лицо и горят уши. Не зная, как он будет реагировать, привстали со стульев, чтобы удрать в случае конфузного для нас ответа. К нашему удивлению, услышали:

— И я вас очень люблю, славные девочки. Спасибо за добрые чувства.

Он сказал это мило и просто и опять уткнулся в газету, как будто нас и не существовало.

Подождав с минуту, мы стрелой полетели в мою комнату. Закрыли дверь на ключ. Обнялись. От счастья и радости стали кружиться по комнате, прыгать:

— Он не оттолкнул нас! Он тоже признался нам в любви!

В дверь постучала нянька:

— Что вы там всполошились, неугомонные? Весь дом ходуном ходит!

Гранечка открыла дверь.

— Ишь, распрыгались, как козы . . . Угомонитесь, не маленькие . . .

Это была ложка дегтя в наш мед. Но все же мы были вне себя от восторга. С этого дня наша жизнь стала интереснее, значительнее, осмысленнее. Хотелось лучше учиться, скорее приготовить уроки, чтобы все остальное время думать и говорить о нем . . . Все девочки в классе теперь казались нам жалкими: за ними ухаживают шумливые, хвастливые, озорные мальчишки, а нас любит офицер!

Гранечка призналась:

— Теперь я не смогу смотреть на него: мне так стыдно . . .

— А думаешь, не стыдно мне? . . . Давай смотреть на него, когда он не смотрит на нас . . .

Как-то во время разговора о гаданьях нянюшка обмолвилась, что если из лучинок сделать под подушкой мостик, то обязательно приснится суженый и проведет по мосту за руку.

У тети в комнате висела парадная сабля Сергея Сергеича. Когда они уехали на несколько дней в Петербург, я подумала:

— А не лучше ли вместо лучинок положить под подушку саблю? Если кто-то снится от простых лучинок, то от сабли приснится тем более . . .

Перенесла ее из тетиной комнаты в свою. Днем поделились своим планом с Гранечкой. Она была в восторге от моего намерения. Я представляла, как Сергей Сергеич во сне будет целовать мою руку. Мама, правда, говорила, что барышням и девочкам рук не целуют, но брат сказал:

— Когда никто не видит, целуют, да еще как!...

Сабля была длинная и торчала рукояткой из-под подушки. Когда в дверь постучалась нянечка, я сунула оружие под одеяло.

— Что с тобой — удивилас она, — ты вся какая-то сумная . . .

— Ты, нянечка, много видишь снов? — спросила я, чтобы рассеять подозрительность старушки.

— Каждую ночь лезут, как нечистики из мешка, наверное грешить много стала . . .

— А когда грешишь, то сны нехорошие? . . .

— Да уж не жди добра, коль бесу угождаешь . . . Ну, да у тебя-то откуда бесовщина?... Твоя душенька чистая, ангельская, спи с Богом.

Половину ночи я промечтала. В мечтах был, конечно, он.

— А вдруг совсем не засну и ничего не увижу? — испугалась я и, повернувшись на правый бок, укрылась одеялом. Окно моей комнаты выходило на улицу. На ночь оно завешивалось темной шторой от весенней голубоватой белизны. Но форточка не закрывалась, чтобы лучше спалось.

В отдалении залаяла собака. В парке заливались соловьи. Булькала ночная колотушка. Может-быть уже светает? . . . Я спрыгнула с кровати, подбежала к окну и приоткрыла угол шторы.

Ночь была тихая, лунная. Дома, деревья, небо, мостовая — все казалось безгрешным, чистым, успокоенным. На ближайшем перекрестке подошли друг к другу два трогательных, кротких старичка, о чем-то неслышно перемолвились и опять разошлись в разные стороны, постукивая деревянными колотушками.

В эту минуту я не жалела, что мне не спится, но сердце щемила боязнь, что никакого сна я не увижу. Легла. Не заметила, как уснула. Во сне летала вместе с птицами: скворцами, соловьями, кукушками. Садилась вместе с ними на ветки деревьев, пела, куковала, но Сергея Сергеича возле меня не было. Утром прибежала Гранечка.

— Ну, скорее рассказывай.

— Не приснился! — вздохнула я.

— Может-быть приснится мне?

— Правда, возьми, только завтра утром принеси, а то Бог знает, что будет.

Саблю под плащом унесли к Гранечке. Она повесила ее на стене, не предвидя никаких несчастий.

Беда пришла оттуда, откуда ее не ждали. Днем в гранечкину комнату вбежали ее братья с моих братом Георгием. Не долго думая, взяли саблю и помчались в парк, где провели полдня, изображая разбойников: рубили деревья, камни, пни. Когда нужно было идти обедать, то оказалос, что затупленная, изуродованная сабля не влезает в ножны.

Прибежав домой, мальчики взяли топор и на чурбане, на котором кололи дрова, приступили к ремонту сабли.

Я была у Гранечки. Услышав стук, мы выбежали узнать, в чем дело.

— Боже мой! Что вы наделали? Теперь мы погибли!

Наше отчаяние не поддавалось описанию: испортить такую красивую саблю! Что теперь нам будет? . . . А как

будет страдать наш обожаемый Сергей Сергеич!

Гранечка заплакала первой, я за ней. Брат Георгией солидно, по взрослому распекал своих товарищей:

— Я говорил, что нельзя саблей рубить камни и деревья! . . . Каждый предмет имеет свое назначение: не будете же вы ковырять в зубах гвоздем, когда для этого существуют зубочистки! Если кухонный секач нужен для раздробления вареной свиной головы, то шашка существует исключительно для того, чтобы сносить живые человечьи головы . . .

С большим трудом, общими усилиями, при помощи молотка и топора сабля была всунута в ножны, которые мы называли то чехлом, то футляром, чем сердили все знающего Георгия.

До возвращения Сергея Сергеича и тети Нади из Петербурга сабля была водворена на прежнее место.

Через несколько дней в столице был парад, в котором участвовали и кавалергарды. Сергей Сергеич уехал рано утром и вернулся только к вечеру. Боясь выйти из комнаты, мы с Гранечкой прислушивались к голосам из гостиной.

— Счастье мое, — донеслось до нас, — что по привычке я решил посмотреть на саблю перед парадом . . . Представляете, что было бы, если бы я не сделал этого? . . . Ведь тогда я должен был бы подать в отставку . . .

Мы слышали его взволнованные шаги по комнате.

— Какой ужас! — всплескивала руками мама.

— Какое безобразие! — сердился отец, — позвать детей! — распорядился он.

И вот мы в комнате. Я с Гранечкой у одной стены, брат у другой.

— Кто это сделал? — спокойно, но строго спросил отец.

Молчание — тягостное, неловкое, стыдное. Мы чувствовали себя жалкими, несчастными, опозоренными.

— Пусть говорит Георгий, — не поднимая головы, сказала я.

— А почему не ты? — набросился на меня брат.

— Кто виноват в изуродовании сабли? — повторил вопрос отец.

— Нянечка, — прошептала я.

— Ой, — вскрикнула и невольно попятилась к двери старушка, — да на что мне это нужно на старости лет?

— В чем вина нянечки? — допытывался отец.

Пришлось рассказать обо всем: и о лучинках под подушкой, и о суженом, и о желании увидеть кого-нибудь во сне . . . Мельком взглянула на Сергея Сергеича. Он, как всегда, улыбался уголками губ.

— Будем считать инцидент исчерпанным, — добродушно сказал он, — грех да беда с кем не случаются?

Когда расстроенная няня выходила из комнаты, я догнала ее в коридоре и повисла у нее на шее:

— Миленькая, добренькая, прости . . . сама не знаю, как сорвалось с языка . . .

— Ладно уж, что взять с тебя несмышленой? .. .

Летом началась война с Германией. Сергея Сергеича отправляли на фронт. Тетя записалась на курсы сестер милосердия.

На прощальный ужин пригласили всю семью батюшки. Он сказал напутственное слово и дал Сергею Сергеичу образок Спасителя.

Стали подходить прощаться. Обнимали. Целовали в губы. Дошла очередь до нас. Это был наш первый и последний поцелуй с Сергеем Сергеичем. Он обнял сначала меня, потом Гранечку. Мы стояли рядом и плакали. Он

положил руки на наши плечи, посмотрел в наши заплаканные глаза:

— Спасибо, вам, девочки, за ваше милое, непосредственно-искреннее чувство ко мне . . .

Ничего не видя, спотыкаясь от горя, мы пошли в мою комнату. Тетя Надя поехала провожать Сергея Сергеича до Петербурга. Все разошлись. Дверь закрылась. Дом настороженно притих в большой неожиданной печали.

В тот вечер мы поняли, что вместе с Сергеем Сергеичем навсегда ушло наше милое детство, наша первая, чистая, святая любовь.

На смену ей шло что-то другое — грешное, полное жгучей ревности, неделимое.

1952 г.

НЕ ВИНОВАТ

Инженер Евгеньев работал в Брест Литовске, когда в сентябре 1939 года этот город заняли советские войска. Начались массовые аресты, расправы с «буржуями». Каждый день поезда увозили на восток сотни ни в чем неповинных людей. Со дня на день Евгеньев ждал визита энкаведистов, но, к счастью, его не арестовали: рабочие дали о нем хороший отзыв.

Кое-кто из бывших сослуживцев завидовал благополучию инженера, об'ясняя его какими-то хитрыми подходами к новым хозяевам города. Но Евгеньев не сказал ни одного льстивого слова красным властителям, не сделал ни одного шага для укрепления своего положения. Как всегда, он полагался только на Бога, принося Ему все свои нужды, упования, радости и печали.

С ним жила старушка мать. Их квартира состояла из трех комнат. Как-то его вызвали в жилищный отдел и сказали, чтобы он поделился одной из комнат для своего собрата-техника, прибывшего с востока.

В мае 1941 года инженера послали на курорт в Балаклаву. Морские ванны, чистый воздух и солнце были бальзамом для его ревматизма. В свободное время он любил бродить по окрестностям, посещал мыс «Фиолент», где был когда-то Георгиевский мужский монастырь, не раз ездил

на трамвайчике в Севастополь, где осмотрел все исторические памятники.

Городок Балаклава небольшой, но чистенький, тихий, солнечный. Мало в мире таких бухт, как Балаклавская. Соединенная с морем узким проливом, она напоминает озеро, со всех сторон, окруженное горами. Но в это озеро могут заходить большие, океанские корабли.

С западной стороны городка, на скалистом берегу, привлекают внимание остатки Генуэзской крепости. Инженер любил взбираться на эти развалины. Запах мелкой горной травы «чебра», беспредельная синяя гладь моря, летающие под небом орлы, бурые утесы — уносили мысль в далекое прошлое. Каких только народов не было в Крыму, чья только кровь не проливалась на этих каменистых склонах! . . . Свидетелем каких событий суждено стать этому полуострову, по праву называемому «Жемчужиной России»?

Думая так, инженер не подозревал, что надвигаются величайшие потрясения, которые опалят его душу небывалым по силе огнем нетерпимости и человеконенавистничества.

22 июня, 1941 года Германия напала на Советский Союз. О выезде из Крыма нечего было и думать. Да и куда бы он поехал? Родной Брест Литовск был занят неприятелем в первый день войны. Инженер очутился в ловушке. Связь с матерью была прервана. Внутренний голос подсказал ему в тот же день переселиться из санатория на частную квартиру. Он снял комнату в одном из глухих кварталов. Кроме самой необходимой мебели в ней оказалась библия на немецком языке.

Еще до начала осени Крым был оккупирован немецкими войсками. Началась жестокая осада Севастополя, длившаяся несколько месяцев. На холмах Балаклавы были установлены дальнобойные орудия для обстрела крепости.

Городок был об'явлен на военном положении. С семи часов вечера воспрещалось всякое движение по улицам. Для жителей наступили тяжелые времена. Из продуктовых магазинов все исчезло. Лучше других было тем, которые поступили на работу к немцам. Это обеспечивало пайком.

Как во время каждой войны, на территории, занятой неприятелем, появились партизаны. У них был свой штаб, свои разведчики, свои исполнители террористических заданий. Больше чем немцам партизаны причиняли страданий своим соотечественникам: за каждого убитого немецкого солдата расстреливалось десять русских ни в чем неповинных человек. За офицера число уничтожаемых увеличивалось вдвое. А если партизаны подкладывали мину под военный склад или убивали кого-либо из высшего командного состава оцеплялись целые районы, из которых уводили на расстрел всех мужчин в возрасте от 15 до 75 лет.

И вот случилось то, чего боялся Евгеньев больше всего на свете: неподалеку от того дома, где он жил, ночью был взорван склад военного обмундирования и боеприпасов. Все жители района затаили дыхание: что-то будет? Рано утром было оцеплено несколько кварталов. Перед вечером постовые были заменены. Никто из жителей оцепленного района не мог выйти за черту охраны. Из окна своей комнаты Евгеньев видел двух часовых с одного и с другого конца квартала.

В первом часу ночи с лестницы, ведущей во второй этаж, послышались тяжелые шаги нескольких человек. В дверь инженера властно постучали. Когда открылась дверь, Евгеньев увидел перед собою сержанта и двух солдат. Ему было приказано немедленно одеться и выйти во двор. По немецки он говорил плохо, но все же кое-как об'яснил, что не причастен к взрыву военного склада. Сначала на его дово-

ды ни сержант, ни солдаты не обратили внимания, грубо торопя его с одеванием.

— Порукой моей честности эта библия, — сказал он, указывая на стол, где лежала книга.

Сержант взял в руки библию. Раскрыл.

— О, даже на немецком языке! — удивился он. В тоне его голоса появилась некоторая мягкость.

— Что ты делаешь с нею?

— Читаю.

— Для чего?

— Чтобы знать слово Божие и жить по нему.

— Ты веришь всему тому, что здесь написано?

— О, да, глубоко верю.

— И поступаешь в жизни так, как написано в этой книге?

— Да.

— И сейчас говоришь только правду?

— Да.

— Тогда можешь оставаться дома.

Они вышли из комнаты. Инженер упал на колени, чтобы поблагодарить Творца за нечаянную милость врага-победителя. Молясь, он слышал вопли, доносившиеся из соседних комнат. Жильцы не говорили по немецки. Оправдываясь по русски в своей невиновности, они этим еще больше сердили офицера и солдат. Один за другим во двор были выведены восемь человек. Их должны были увести в тюрьму или за город, на расстрел. Слезами и стонами наполнился весь дом. Но вот одна из женщин крикнула:

— Его не взяли!

В комнату инженера вбежали жены и дети уведенных во двор.

— Дорогой господин, спасите ради Бога! Вы умеете говорить по немецки. Скажите им, что наши мужья никуда

не выходили в тот вечер. Вас ведь тоже хотели увести, но вы доказали им свою невиновность.

— Не повредит ли я себе заступничеством за этих людей? — невольно подумал инженер, — не присоединят ли меня к арестованным, как их единомышленника и соучастника? Может-быть сказать стонущим женщинам, что я бессилен чем-либо облегчить участь их мужей?

Но совесть властно говорила: «Ты не имеешь права — не вмешаться. Как христианину, тебе будет грош цена, если ты успокоишь себя тем, что твоя хата с краю. Не будь безучастным, действуй быстро и решительно!»

— Хорошо, — сказал инженер женщинам, — я попробую замолвить слово за арестованных.

Взяв со стола библию, он вышел во двор в тот момент, когда уже была открыта калитка и всю группу собирались уводить.

— Простите меня, — обратился он к серженту, — за беспокойство, но мне хочется, чтобы восторжествовала справедливость: эти люди совершенно не виновны.

— Твои слова так же правдивы, как правдиво все то, что написано в книге, которую держишь?

— Да.

— Ты ручаешься за этих людей?

— Да.

— Тогда они могут вернуться домой.

Когда калитка захлопнулась за сержантом и двумя солдатами, к инженеру бросились с благодарностью женщины, дети и все те, чья жизнь еще минуту тому назад висела на волоске.

— Вас к нам послал Бог!

— Никогда не забудем вашего заступничества!

— Дай Бог вам здоровья, счастья и долгой жизни!

До утра весь дом не мог успокоиться от радости, охва-

тившей каждое сердце. Это было в ночь с четверга на пятницу. В воскресенье утром инженер решил пойти на молитвенное собрание. Пригласил обитателей дома. Все охотно согласились. Это порадовало его тем, что не было похоже на евангельскую историю, когда из 10 исцеленных от проказы, только один догадался поблагодарить Христа.

Собрание было многолюдным: ведь только из одного дома, где жил инженер, пришло больше 20 человек. Духовные гимны звучали в этот раз особенно проникновенно. После молитвы проповедник сказал прочувствованное слово о неисповедимых путях Господних и о милосердии Творца к раскаявшимся грешникам.

— В нашем собрании есть такие и сейчас они засвидетельствуют об этом.

С передней скамьи поднялся человек лет сорока. У него были тонкие черты лица, широкий лоб, слегка вьющиеся волосы. В больших карих глазах светились одновременно радость и следы совсем недавней скорби.

— Дорогие братья и сестры, — начал он, перед вами новый человек, два дня тому назад стоявший в могиле не одной, а обеими ногами. Но прежде чем рассказать об этом, скажу немного о себе. Больше десяти лет я был правой рукой наркома по просвещению, Анатолия Васильевича Луначарского. Я был одним из его секретарей, заведуя отделом антирелигиозной пропаганды. Почти 15 лет я воевал с Богом, устраивал диспуты в различных городах, в фабричных и заводских клубах, на шахтах, в колхозах, в высших учебных заведениях, в армейских частях. Я хорошо знал библию, но мое знание преследовало только одну цель: всегда, везде и всюду я старался опровергнуть Бога и посеять в душах людей отравленные семена неверия, кощунства и злобы перед Высшей Силой. Три дня тому назад, в доме брата проповедника я горячо воевал с Богом, доказывая, что ре-

лигия — опиум для отравления народного сознания. Три дня тому назад я был жестоким гонителем Савлом . . . А теперь послушайте, что сделал со мною Тот, Кого я оскорблял, гнал и попирал, как самый лютый разбойник.

В ночь с четверга на пятницу, как всем вам известно, несколько кварталов Балаклавы были оцеплены немецкими частями. После полуночи в наш большой дом нагрянуло сразу шесть человек. Было арестовано 28. Я убеждал офицера по-немецки, что не причастен к взрыву военного склада, но на мои доводы не обратили никакого внимания. Выведя нас со двора, немцы приказали остановиться, чтобы подождать другую группу. Мы стояли на тротуаре, а из каждой комнаты нашего дома неслись душу раздирающие вопли. Вскоре к нам подвели еще человек 60. Построив нас в ряды, по 4 человека, охрана приказала двигаться по направлению к степи, за город. Для всех было ясно, что нас ведут на расстрел. Когда мы приблизились к городской окраине, со степи донеслись пулеметные очереди: значит, кого-то уже расстреливали. Я шел в последнем ряду. Смогу ли я описать то, что пережил в эти минуты? Нет. Это поймут только те, которые сами когда-либо пережили нечто подобное. Через несколько минут смерть . . . И нет никакой надежды на избавление! . . . Жизнь сразу приобрела такую ценность какой никогда не имела до этого. Но самое главное: моя душа моментально прозрела и я увидел, как я жестоко заблуждался, каким я был безумцем, отрицая существование Бога. Мне стало нестерпимо стыдно. Весь я прежний, недавний, еще вчерашний — предстал перед самим собой слепым, жестоким, самовлюбленно-коварным, не заслуживающим никакого снисхождения. — Господи, — говорил я, — вот сейчас моя бессмертная душа предстанет перед Тобою. Что она скажет Тебе? Чем оправдается?

Слезы текли потоками из глаз, все тело дрожало, как в

лихорадке. Я спотыкался. Ничего не видя перед собою, я отстал. Приклад немецкого солдата с силою опустился на мое плечо. Я пришел в себя и неминуемый конец стал еще страшнее. Вот снова защелкали пулеметы — расстреливали вторую группу, а может быть уже нашу колонну.

Я стал молиться. Это вышло само собою, естественно, без самопринуждения, потому что я уже был другим человеком, совершенно отличным от того, каким был час тому назад. — Господи, — стонала душа, — я не имею права просить Тебя о милости, но если Ты чудом сохранишь мне жизнь, я отдам ее Тебе целиком, я заглажу свои многолетние преступления пред Тобою . . . Будь милостив ко мне, лютому грешнику, помяни меня, Господи, в своем светлом царстве, не дай мне отойти в вечность с непосильным бременем грехов, сними их с меня, Господи, своей беспредельной любовью.

Я опять отстал. Вдруг чья-то рука касается моего плеча. Ласковые глаза смотрят в мои заплаканные, и тихий голос немецкого офицера говорит: — Иди домой: ты не виноват.

Офицер спешит за удалившимися, а я беспомощно опускаюсь на колени: мои ноги отказываются идти, я не знаю, сон это или явь? Треск пулеметов приводит меня в чувство. Я поднимаюсь и сразу душа и тело переполняются безграничным чувством благодарности Богу за дивное спасение. На крыльях неземной радости я лечу в город, но не домой, а к брату проповеднику. Время позднее: около трех часов ночи. Разве мог бы я побеспокоить человека в обычном своем состоянии? Нет. Но кому другому я мог поведать о своем воскресении из мертвых, о неизреченной милости Творца? Мог ли я отложить это до утра, до разрешенного военными властями часа? Нет, не мог. Моя душа горела неугасимым пламенем. Я постучал в дверь. Через

минуту тихий голос спрашивает: «Кто там?» — «Спасенный Господом», — отвечаю я. Дверь открывается. Я вхожу в комнату и опускаюсь на колени. «Дорогой брат, — говорю я, — порадуйтесь вместе со мною: Господь спас меня от греховного безумия, Он провел меня невредимым долиной смертной тени . . . О, как безгранична Его милость ко мне, недостойному» . . . Я рассказываю обо всем, как было. Брат преклоняет колени вместе со мной. Мы оба плачем искренними слезами радости. Потом я бегу к жене. С той минуты, как меня повели на расстрел, она не сомкнула глаз. И вот я перед нею. — «Таня, Господь призвал меня на служение Ему» . . . Она удивленно отстраняется, думая, что я сошел с ума. В ее сознании не умещается мое вчерашнее лютое безбожие с тем, что она слышит. Тогда я рассказываю ей все по порядку. Чудо моего спасения производит переворот в ее душе и она становится на колени рядом со мною. Мы плачем и молимся, мы поздравляем друг друга с воскресением. Да, Господь воскресил нас два дня тому назад. Дорогие браться и сестры, порадуйтесь вместе с нами, поблагодарите Творца вместе с нами за Его дивный промысел, за Его непостижимую разумом любовь к раскаявшимся грешникам.

Жена новообращенного вышла к кафедре. Они склонили колени. Проповедник прочитал горячую молитву благодарности за духовное возрождение, дарованное в минуту смертельной опасности и первый запел гимн:

О, дивный день, о, дивный час,
Когда Спаситель в первый раз
С душой моей в завет вступил
И мир мне сердца подарил.

Слезами радости плакали все собравшиеся, когда звучали проникновенные слова гимна:

О, дивный день, когда Христос
Меня нашел в долине слез.
Он мой теперь и я Его,
И не страшусь я ничего.

Плакали и те восемь человек, за которых инженер Евгеньев просил немецкого сержанта. Их слезы свидетельствовали о том, что и они недалеки от Христа.

1954 г.

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА

Отец всю жизнь кузнечил. Семен в отца пошел — такой же старательный, заботливый, только видом и характером другой. Тот был рыжий, этот — русый. Тот ругатель, скандалист, сквернослов. Этот тихий, смирный, черного слова боится.

Ранней весной письмо мне в Москву прислал:

— «Хочу у Болотиных пятистенный дом купить, а денег нехватает. Не выручите ли из беды: не дадите ли сотенки три взаймы?»

Дал. Это было в апреле, а вот теперь, в июле, за этот самый дом человека в кулацкий список внесли. Что делать?

Жена Алена ругает:

— Говорила: «не связывайся с домом, не такое теперь время, чтоб жить по господски» ... Не послушал ...

Две девочки и сын плачут: по глупости стыдно, что теперь они — «кулацкие выродки».

Пришел вечером в ячейку.

— Братцы, как же это так: три месяца в просторном доме пожил и — кулак? Надо же по совести властвовать, в центральную директиву вникать. Посмотрите на эти руки — мозоль на мозоли, наросты от беспрестанной работы никогда не сходят.

— От эксплоатации тоже наросты получаются. Послови-

цу знаешь: «От трудов праведных не наживешь палат каменных» ...

— Да какие ж особенные палаты — болотинский дом? Я ж его по дешевке купил, у добрых людей взаймы попросил.

— На это советской власти наплевать. А вот если хочешь доброго совета послушать, садись. Плохому не научим. Сами знаем: человек ты — стоющий. В Сибирь тебя законопачивать неохота, а придется, коль упрешься по ослиному. Подавай-ка сейчас же заявление в партию. Сначала в кандидатах походишь, а немного погодя, честь-честью оформим.

— Да как же так? То кулак, а то сразу — в партию ... Размыслить не под силу.

— И размысливать нечего, торопись, покуда сочувствуем по дружески.

— Хоть подумать дайте, мозгами раскинуть, с родными посоветоваться.

— Родные никогда путного не присоветуют. До завтра подождем. Хочешь в дураках остаться — на себя пеняй.

Обо всем Алене сказал. Качает головою жена:

— Не по душе мне это.

— Значит, лучше Сибирь, мучения для детей?

— Да ведь не одних нас туда погонят ... А на миру и смерть — красна. Какой же ты будешь коммунист, коль всегда клял этих дьяволов? ... Может пожаловаться куда?

— Куда ткнешься, коль везде их власть? А для спасения шкуры на все пойдешь ...

— Как хочешь ... Мне это — нож в сердце. У ребятишек спроси.

Позвали всех троих: шестнадцатилетнюю Анютку, четырнадцатилетнюю Нинку, двенадцатилетнего Митьку.

— Хотите, детки, в Сибирь — на холод, на голод, на смерть неминучую?

Застряслись, заголосили, слезы — в три ручья.

— А ведь можно и миновать ее — эту каторгу безвинную. В ячейке уговаривают в партию записаться, тогда сразу — вольготность.

— Чего ж не записываешься? — всхлипывая, спрашивает с укором Анютка.

— Знамо, запишись, — поддакивают Нинка и Митька.

— Ах, детки, детки, глупыши несмышленные, — вздохнув, качает головою мать.

— Пойду с умными людьми посоветуюсь.

— Разве можно об этом с чужими советоваться? С совестью совет держи, у нее спроси раньше всего.

— А все ль по совести-то живут? Захотела ты совести в теперешнее время . . .

Я в это время у старшей сестры, в родном селе гостил. Из Москвы ко мне приехали отдохнуть: писательница Чумакова, поэт Полевой, доктор Карцев и друг юности Купцов.

Пришел к нам вечером Семен. Все на веранде сидели.

— Здравствуйте, Петрович.

Знали о занесении Хрусталева в список «эксплоататоров», не удивились ни растерянности, ни бледности, ни холодному поту на узком лице.

— Ум на части рассыпался . . . Никак не могу его вместе слепить, чтоб на правильную линию стать . . . В партию зовут. Откажусь — каторга. Запишусь — воля . . .

— Разве дело только в том, запишетесь вы или нет? — заметил поэт Полевой, — ведь вам нужно будет свою партийность делами подтвердить.

— Об этом нечего и говорить, но дела наверно будут

не скоро . . . Сейчас самое главное: записываться или наотрез отказаться?

— Откажитесь, — посоветовал Купцов, — слышали, как люди сами себя сжигали, чтоб только перед сатаною не унижаться?

— Как не слыхать? . . . Решительные были, бестрашные . . . Кабы не дети, может и я не трепыхался бы сердцем . . . А ведь их — трое . . . Плачут, не унимаются, в партию гонят.

— А что вы сами-то думаете? — спросил я, — по силам вам будет партийность?

— Не знаю, Родион Михалыч, все мысли в разброде, только тут (на сердце указал) — словно камень огненный: и жжет и давит . . . еле ноги таскаю . . .

— Без всякого колебания записывайтесь, — посоветовала Чумакова, — помните: жизнь — борьба. При крушении корабля каждый спасается, как может. Вступая в партию, вы спасаете целую семью. Не опускайте беспомощно рук. Действуйте. Плывите к берегу новой жизни. Партийцы — не исчадия ада, а такие ж люди, как все. В партии — миллионы светлых умов.

— Я тоже так думаю. Не все же в «Сысыере» такие коммунисты, как в нашей ячейке. Была не была, запишусь.

Сосед Никифор вошел. Невесело улыбается:

— Не думал, не гадал, и я в кулаки попал . . . На старости лет попутешествовать придется, да вот беда: не по всему земному глобусу, а только по холодной Сибири.

— А вам не предлагают вступить в партию? — спросила Чумакова.

— Бог миловал. Что партия, что волчиная стая — одна модель.

Понял Хрусталев: нельзя оставаться дольше — Ники-

фор перед ним живой укор: семья не из пяти, а из десяти человек, но покориться не хочет, заранее к мукам готовится.

— Ну, что ж, прощайте покуда, не обессудьте за докуку.

Меня к двери поманил, шопотом спрашивает:

— Если что случится, как же с деньгами-то быть, Родион Михалыч? Вон ведь как дела-то оборачиваются...

— Пока не думайте об этом.

Поблагодарил и ушел.

Московские гости в этот вечер долго спорили о порядочности и беспринципности.

— Надо при всяких обстоятельствах быть честным, — говорил доктор.

— Надо быть гибким, — утверждала Чумакова.

— Змея тоже гибкая, только людям мало радости от этого, — уколола ее сестра Татьяна.

— Мы живем в судьбоносное время, — не унималась писательница, — потомки будут завидовать нам. Подумайте только: на карту ставятся миллионы жизней.

— Среди которых ты не хотела бы поставить свою, — с'язвил поэт Полевой.

— Я должна сохранить свою жизнь, чтобы изобразить в большом романе все происходящее.

— Можешь предоставить это нам.

— О, нет, ваша трактовка современных событий будет предвзятой, однобокой. Вы — за сохранение древних устоев, хотя они уже давно подточены червем времени, отсталости, консерватизма.

— Какое бездушное жонглирование словами!...

* * *

На другое утро все село ошарашила новость:

«Хрусталев вступил в партию!... Хрусталева вычеркнули из кулацкого списка!»...

Большинство односельчан не сочувствовало такому шагу кузнеца. Все понимали: это сделка с совестью для спасения собственной шкуры.

В тот же день секретарь ячейки Махотин просвещал нового «партийца»:

— Коммунисту неприлично жить в этакой хоромине. Докажи свою преданность партии: откажись добровольно от дома, мы в нем сельсовет разместим, а тебе другую квартиру дадим.

Какой ловушкой для Хрусталева оказался новый дом, из-за него в кулаки записали, из-за него совестью покривил: в партию записался... А теперь переселяют куда-то.

Нашли старую заколоченную избу.

— Хватит для пятерых и этой.

Партийцу неудобно скандалить: проглотил пилюлю. Теперь ко всему надо приготовиться.

Не успел в хибарку перебраться, новый указ: «в комиссию по отбору кулацкого имущества» назначили. Это самое страшное и стыдное.

Пять человек в комиссии: представитель района Пестюхин, три местных комсомольца и от ячейки — Семен Хрусталев. Началось то, о чем говорил поэт Полевой: партийность нужно подтвердить делами.

Просил, умолял: «Лучше застрелите, только от этой должности увольте»... Не уважили просьбы.

— Чего стесняешься?... С кулачьем нечего церемониться!...

Пошел на новую «работу». Не живой человек, а колеблемая ветром тень. Пришли к Федоту Немальцеву. На печи — бабка Матрена: старая, серая, годами согнутая. На ногах — новые валенки.

Комсомольцы сундуки открыли.

— Почему пусто? Сдавайте по описи, что полагается: три шерстяных юбки, две шелковых, четыре сатиновых, пять полушалок, клетчатую шаль с кистями, холсты для полотенец, шубейку плисовую . . .

Жена Федота, пятидесятилетняя Варвара (когда-то чернобровой красавицей была, а теперь в одну неделю седой стала) оправдывается:

— Сами не знаем, кто под метелку замел . . .

— Не сочиняй сказок, чтоб через час все на месте было! . . .

Семен Хрусталев на лавке сидит (стоять — силы нет), уговаривает хозяев:

— Этим не разживетесь, отдавайте уж, коль требуют . . . В Сибири не до нарядов, абы голь прикрыть . . .

— Сема, — спрашивают хозяева, — а ты-то почему с ними? Неужто заодно с душегубами? Что б отец-то сказал, кабы из гроба вышел? На честной линии стоял человек, каждому властителю правду в глаза ляпал.

— Чего зря говорить, о чем не следует? . . . Тогда было одно время, а теперь — другое . . .

— Значит, каждому времени — своя совесть? . . . Нет, голубчик, снег всегда белый, а сажа с сотворения мира — черная.

Зыркнули комсомольцы на бабку.

— Новые валенки? Это что такое? Кажись, не зима! . . . А ну ка, снимай!

— Откачнитесь от моей душеньки, отрошники! . . . Во что зимою обуюсь?

— Зимой? . . . До зимы успеешь пять раз окачуриться! Давай! Давай!

Двое в ноги вцепились, чтоб сразу оба валенка стянуть.

Грохнулась бабка на пол. Когда падала, за приступку

виском задела. Сразу конец пришел. Комсомольцы хохочут:

— Ну, вот, мы говорили, что до зимы успеешь пять раз загнуться . . . По нашему вышло . . .

Завопила вся семья:

— Бабанюшка на смерть убилась! Убивцы проклятые! Не потерпит вам Господь!

С мертвой валенки стянули. Любуются:

— Совсем не ношеные!

«Чтоб и мне вот так-то, сразу, — думает Хрусталев, — от позора, от тоски, от стыда незамолимого» . . .

Какой бы «кулацкий» порог не переступил, везде удивление:

— И ты с ними? Да неужто светопреставление началось? Деревья вверх кореньями стали расти? . . . Реки вспять побежали?

Неделю крепился. Только слов все меньше, будто язык отнялся. Сядет за стол, кусок в рот не лезет. Один раз идет вечером домой, а с разных сторон не то молодежь, не то пожилые перешептываются:

— Иуда шагает.

Ничего о новой кличке жене не сказал. Она и так не по дням, а по часам сохнет. Только глаза от слез не просыхают.

В той избе, в какую по приказу ячейки переселились, отдельная кухонка с одним окошком. Все трое детей на погребице спят. В передней кровать на двоих, но Алена зябнет. С вечера на печке притулится и думает, думает, чем все это кончится? . . .

Третьи петухи прокричали. Разбудили Алену. Глядит — дверь в переднюю настежь. По какому случаю оттуда свет? Словно кто шилом в сердце кольнул: недоброе! Неслышно с печи спустилась, глядит, а за столом муж. Со-

гнулся, что-то пишет. Возле стола веревка. В потолке над столом — железный крюк для лампы. На стол ее поставил.

Подкралась:

— Чего задумал?

Схватил бумажку, скомкал.

— Покажи!

— Зачем помешала?... Спала бы и спала...

— Все вижу... Не таись... Дай листок!...

Читает: «Детки мои милые и супруга! Не было Иуды в нашем роду... Я — первый. Не могу людям в глаза смотреть... Помолитесь за меня грешного, криводушного... Не жалкуйте обо мне: без меня вам будет лучше»...

Как младенца, к груди прижала:

— Да Бог с тобою, да разве ничего не осталось, кроме этого?... Завтра утром в ячейку пойдем, вместе скажем: «На край света ссылайте, не надо нам воли вашей, примем муку лютую, но перед Богом и людьми очистимся»... А детки поплачут, поплачут и привыкнут. Не одни они там будут... Вся Расея слезами надрывается...

Успокаивала. По голове гладила. Посветлело на душе у обоих. Поняли: не любою ценою можно купить свободу.

Утром опять все село взбудоражено. Не утерпела Алена: рассказала соседкам о том, что ночью чуть не стряслось, соседки — кумушкам и родне, а дальше пошло из дома в дом.

С облегчением вздохнул народ:

— Слава Богу: не Иуда он больше, а смиренный мытарь.

Рассвирепели в ячейке, мудреным словом обругали:

— Ренегад!

Как видно, иностранное «ренегат» по своему поняли: рано гадом, изменником стал. В тот же день в райком и в

НКВД по телефону дали знать. Распорядились районные власти:

— Все отобрать, первым в ссылку отправить!

И вот настал этот печальный день. В район «преступника» со всей семьей на телеге повезли. Там должны были в НКВД запереть, пока не будет подан тюремный вагон до Кинеля, а оттуда на Сибирь.

Медленно, в сопровождении двух районных милиционеров, двигалась телега серединой улицы. Запрудили ее старые и малые. Плачут. Прощаются. Кто лепешку украдкой сует, кто — курицу вареную, кто яиц в узелке.

—Молитесь за себя и за нас, — стонала Алена.

— Простите, братцы и сестрицы, — умолял кузнец.

А дети ничего не говорили, только голосили, не переставая. Попросила Алена милиционеров:

— Дозвольте с родным селом попрощаться.

Разрешили. Стала на колени.

— Прощай, родимая сторонушка, прощайте, люди добрые, не поминайте словом худым... Никогда мы ни о ком злого не помыслили...

Припала к земле. Застряслась. Подбежали бабы, подняли:

— Не убивайся... и нам — следом за вами...

Ни одних глаз — без слез. Милиционеры и то с ресниц что-то смахивают: тоже люди. И у писательницы Чумаковой заплаканы глаза.

Под гору спустилась телега. Почти час было видно ее, удалявшуюся ровными зелеными лугами по направлению к Павловке. Долго стоял народ — растерянный, недоумевающий, отдавший первую жертву на заклание, приготовившийся к новым скорбям.

1952 г.

СОЛНЦЕ ПОДНИМАЛОСЬ

Андрею Бурлакову снилось: подходит отец, берет за плечо и говорит: «Не спи, сынок, погляди на небо — собирается страшная туча, с громом, молнией, ураганом... Беги, покуда можно укрыться от напасти, а замешкаешься, беда: костей не соберешь»...

Открыл глаза. В плечо толкает безусый тощий паренек в красноармейской шинели:

— Товарищ, не знаешь, где Андрей Бурлаков?

— А зачем тебе его?

— Вызывают в штаб полка... в «особенный», — пояснил связной (так бойцы называли особый отдел).

— С винтовкой?

— Безо всего.

Значит, на этот раз арест и расстрел, — подумал Андрей.

Раннее апрельское утро. Еще не померкли звезды. Подувает свежий ветер со стороны Донца. В два часа ночи Андрей, как разводящий, сменил посты и прилег вздремнуть. А вот теперь его срочно вызывают в штаб. Значит, что-то пронюхали и хотят «шлепнуть»...

Не подал вида пришедшему красноармейцу, что он тот самый Бурлаков, которого требуют в такой ранний час.

— Пойду поищу, а ты подожди. Вот тебе махорка, консервы. Кури, закусывай.

Дивится красноармеец: какой добрый боец, без просьбы угощает, свои запасы отдает, такие теперь в редкость. Спрашивает у Бурлакова:

— А тебя-то как зовут, товарищ?

— Меня-то?... Да хоть Иваном Шумилиным зови...

— Спасибо, товарищ Шумилин. Так что же мне делать — ждать, когда найдешь Бурлакова, или доложить, что разводящий пошел его искать и сам приведет?

— Как хочешь, браток, но по моему — тебе лучше закусить и вздремнуть на моем месте, пока я ищу Бурлакова.

— И то дело, — обрадовался безусый, — всю ночь не дают покоя: то за одним иди, то за другим... Никак не насытятся расстрелами... А ты скоро его найдешь?

— Кабы в лицо помнил, в одну минуту нашел бы, а теперь придется почти каждого будить и разузнавать, не он ли Бурлаков... В подразделении много новых, не успел всех запомнить...

— Так я подожду тебя.

Вышел Андрей из землянки. Голова кружится. От внутреннего холода зубы выбивают дробь. Что придумать? Каждый день, на рассвете, в штаб вызывают провинившихся и расстреливают в ближайшем лесочке. У Андрея вина немалая: оставался в Харькове при первом его захвате немцами. Этого советское командование не прощает никому. А недавно, в присутствии нескольких красноармейцев смеялся над командиром полка: «Ему, как бывшему директору свиносовхоза, не полком командовать, а свиньям помои разливать»... Теперь ругает себя: зачем при других брякнул такую насмешку по адресу командира? Разве не знал, что воинские части кишмя кишат сексотами?

Долго обдумывать нельзя. Надо немедленно принимать решение. На этой стороне не укроешься. Нужно бежать к

немцам. Донец разлился, как море. Вода ледяная. Но иного выхода нет. Лучше утонуть, чем ждать команды: «По врагу народа — огонь!»

На той стороне родное село, семья. Может быть его уже считают покойником?

Подбежал к ближайшему посту, у самой излучины разлившейся реки. Постовой хорошо знаком: тоже с той стороны, тоже оставил семью на оккупированной немцами земле. Зовут — Корчагин Василий. Ростом — богатырь.

— Доброе утро, Вася.

— Доброе утро, товарищ Бурлаков, кажется, рановато хочешь сменить меня?

— И не думаю, Вася. По другому делу пришел. В свои места давай сматываться.

— В какие «свои места»?... Наши места — там, за рекой...

— О тех местах и говорю.

— С ума спятил иль провокацию пускаешь?

— Ни то, ни другое. Долго болтать некогда: поплывем!

— Плыви один, коль задумал.

— Чтобы ты меня в спину кокнул? Нет, Вася, этого не будет: оставить тебя здесь я не могу. Ты обязан или пристрелить меня, когда я брошусь в воду, или немедленно поднять тревогу. А не сделаешь того или другого, твоя песня спета. Как только хватятся, что меня нет, немедленно пригонят бойцов из особого отдела и расстреляют тебя, как собаку, перед строем... Я не хочу твоей смерти. Думаю, что и ты не хочешь моей.

Заколебался Корчагин. Оглянулся на Донец, посмотрел на брезжущий рассветом восток.

— Оно бы, конечно, не плохо явиться к своим: ведь

сегодня второй день Пасхи, как будто бы из мертвых воскресли...

— Ну, так чего ж раздумывать?

— Документы не при мне, а без документов к немцам не заявляйся: за шпионов примут.

Строго следит советское командование, чтобы на фронте у красноармейцев не было никакой бумажки, удостоверяющей личность. Отбирают все: паспорт, воинский билет, справку со службы или от домоуправления, всякие командировочные удостоверения.

Пригонят бойцов в баню, а тут, уж целая свора сыщиков из особых частей. Пока красноармейцы моются, сыщики все обшарят, под подкладкой каждый сантиметр ощупают.

На всякие уловки идут бойцы, чтоб сохранить при себе хоть какую-нибудь бумажку. Перехитрил начальство и Василий Корчагин: завернул документы в газету и зарыл под деревом в полукилометре отсюда.

— Может быть сходишь за ними, а я тем временем подготовлюсь? — спрашивает у Бурлакова.

— А где они?

— Видишь вон ту сосну, к востоку, за небольшим холмиком?

— Вижу.

— С одной стороны кора у нее соскоблена, а на соскобленном месте серп и молоток вырезаны. В двух метрах от этого мелкие камушки насыпаны. Копай в этом месте.

Бежит Андрей к сосне, а сердце, как молот: дорогие секунды отбивает. Вот когда время дороже золота: надо успеть, пока не хватятся, пока связной из штаба не догадается, что ускользнувший от него разводящий и есть тот самый, за которым начальство охотится. Уже близко сосна.

И вдруг, как молния, сомнение, раскаяние, самобичевание: зачем так легкомысленно побежал за чужими документами? Ведь Василий мог отослать его нарочно подальше, чтобы связаться с командным пунктом и устроить для человека западню... Обессилели руки и ноги. Холодный пот выступил на лбу, крупными каплями катится по щекам... Какая непростительная оплошность!... Но все же надо подойти к дереву, довести дело до конца. Выросшая на свободе сосна — приземиста, ветвиста. Вот и стесанная кора, вот и серп с молотом... Может быть не обманул Василий?... Может быть у него и в мыслях не было предательского плана?... Мелкие камушки. Копнул рукой — земля плотная, холодная. Пустил в ход обе руки. Наткнулся на что-то мягкое. Газета!... Значит, не обманул земляк! И опять твердость в руках и ногах. В газете — воинский билет и другие бумажки. А утро все ближе. Какие-то птички попискивают. Серовато-синей широкой лентой виднеется гладь разлившегося Донца. Стрелой летит к Василию. Рад за него и за себя. Подбегает, а тот уж разделся, раскрутил обмотки.

— Ты, Вася, поплывешь первым, а я за тобою.

— Боишься — в затылок шлепну?... Эх, ты!...

— Не сердись, Вася.

Документы в пилотки, за подкладку положили. Шинели, обмотки и гранаты в укромном местечке спрятали и камнями завалили, чтоб свои не сразу хватились исчезновения двух человек. С винтовками решили не расставаться: кто знает, что ждет впереди?

— Вася, знаешь, что сделаем сейчас? Хоть и мало времени, но без этого нам сейчас нет спасения: давай помолимся.

— Это хорошо.

Стали на колени, лицом к востоку. Ни одной молитвы не знает Андрей: не приходилось ему молиться в юношеские годы. Когда в строительном техникуме учился, состоял членом антирелигиозного кружка, религию считал опиумом для народа. То, что в детстве бабушка научила, забылось. Вот и приходится теперь по своему молиться.

— Господи, прости меня за безбожие, как ты простил разбойника на кресте. Разбойником неблагоразумным был я всю жизнь, но Ты, Господи, не отверг меня, и в час, когда ко мне приблизилась позорная смерть, предупредил меня сновидением, помог усыпить бдительность связного, найти спутника в бегстве отсюда. Спасибо Тебе, Господи, за все. Сохрани нам обоим жизнь при переправе, спаси нас от потопления, от бессилия, от пули чужих и своих. Господи, если мы можем быть полезны людям и родине во славу Твою, сбереги нас в эти страшные часы и минуты нашей жизни. Только на Тебя наша надежда сейчас. В руки Твои отдаем мы свои жизни. Аминь.

— Аминь, — повторил Василий.

Перед тем, как войти в воду, решили, на всякий случай, попрощаться друг с другом. Уговорились: если один погибнет, другой все расскажет его семье. Поцеловались. Лица у обоих были мокры от слез: молитва растрогала обе души.

— Ну, Господи, благослови.

Перекрестились. Вошли в воду. Ледяной холод. Сначала глубина была до колен, но скоро погрузились до самой шеи. Плыть с винтовкой за плечами, в брюках и в гимнастерке трудно. Но вот снова мель по пояс. Вспомнили: это не самый Донец, а залитая половодьем низина по левую сторону реки. Кое-где из воды выглядывают кусты. Четыре желания у беглецов: чтобы не так скоро хватились их

исчезновения, чтобы никто не встретился, чтобы не пристрелили немцы, когда будут приближаться к тому берегу, чтобы хватило сил на трудную переправу.

На глубоких местах приходилось плыть, на более мелких делали передышку. Иногда на них наскакивали маленькие льдинки, но холода не чувствовалось: тело согревал какой-то особенный внутренний жар. Сквозь предрассветный туман, стелющийся по воде, слабо вырисовывался крутой противуположный берег. О, как еще далеко до него! Но вот до слуха донесся странный плеск: это не было похоже на плеск метнувшейся рыбы, на удары весел по воде. Беглецы огляделись. Справа, неподалеку от них, навстречу двигались гуськом человек пятнадцать. Как видно, это была разведка, возвращавшаяся во свояси.

— Конец, — подумали Андрей и Василий.

Вода в этом месте была по грудь. Спрятались по шею. Встречные все ближе. Идут медленно. Молчат. Лица устремлены к русскому берегу. Василий и Андрей отчетливо видят каждого. Неужели те не заметят их? «Господи, заслони их от нас непроницаемой пеленою», — молится про себя Андрей. Поровнялись. Идут дальше. Теперь видны только их затылки.

— Подождем еще немного, — шепчет Василий.

Уже не слышно плеска разведчиков. Можно двигаться дальше. Через минуту ухнули в яму.

— Вася, тону...

— Это ты от испуга обессилел. Придется твою винтовку бросить: дай Бог, чтоб не понадобилась.

Снял Василий через голову ремень с Андрея. Булькнула на дно винтовка. Схватил утопающего за гимнастерку левой рукою.

— Как чувствуешь себя?

— Теперь ничего... Вот опять мель... Давай передохнем . . .

— Кажется, островок виднеется. Видишь? И куст вербы на нем. По моему лучше отдохнуть на суше чем в ледяной воде.

— Это нам Бог посылает. Он нас и «шапкой-невидимкой» от разведчиков прикрыл.

Островок небольшой: метров пятнадцать в длину и метров пять в ширину. Уже совсем рассветало. Возле серого камня на островке зайцы сгрудились — штук двенадцать.

— Смотри, Вася, какая неожиданная компания.

Зайцы были присмиревшие. Испуганно дрожали, но не метались, как будто понимая, что бежать некуда. На островке валялись куски окровавленных бинтов. По всем признакам, встретившаяся группа разведчиков доходила до этого места. Василия и Андрея удивило, что зайцы не перебиты.

— Вероятно побоялись выстрелами выдать себя, — решил Василий.

Андрей гладил зайцев, как гладят домашних животных. Дрожали, косились, но принимали ласку с покорностью.

— Чья доля лучше, косоглазые — ваша или наша?

— Скажите ему, лопоухие: и вам и нам одинаково не сладко — радости нет, а беды со всех сторон, — улыбнулся Василий.

Из-за горизонта выплыл шар солнца — большой, золотисто оранжевый. Чувство радости охватило беглецов: «Живы, снова видим солнце, дышим воздухом родных просторов, видим Божью красоту».

Мутные воды Донца бежали, закручиваясь в спирали. Цель близка, но предстоит самое трудное: теперь придется все время плыть. Течение стремительное, будет уносить от берега. Господи, доведи спасение до конца.

Со стороны русского берега застрекотали пулеметы. С немецкого крутого берега высовывались жерла пушек и стволы пулеметов. Андрей и Василий догадались: это стреляют по ним. Только бы не начали отвечать отсюда, — подумал каждый, — а то могут пристрелить вместе с этими зайцами.

Стрельба русских все усиливалась. К пулеметам присоединились минометы. Тогда начали палить и с немецкого берега. Беглецы очутились под перекрестным огнем. Прижались к земле. Заметались перепуганные зайцы. Пули со свистом пролетали над островом.

— Давай покажем белую тряпку, — шепнул Василий.

— У меня нет ничего белого.

— Мои документы завернуты в носовой платок.

Через минуту Василий размахивал платочком, надетым на штык оставшейся винтовки. Стрельба с немецкого берега прекратилась, а со стороны русских позиций становилась все ожесточеннее, но тот обстрел был не страшен: пули не долетали до островка.

— Плывите! — крикнул кто-то по-русски с немецкой стороны.

Василий и Андрей удивленно посмотрели друг на друга.

— Плывите! — крикнул тот же голос.

Беглецы приподнялись во весь рост. Человек на крутом берегу призывно махал рукою.

— Я еще чувствую себя усталым, плыви ты первым, — сказал Андрей.

— Нужна ли нам эта винтовка? — спросил Василий.

— Для чего она нам теперь?

— А раз так, бросай в воду.

Андрей взял винтову за конец ствола, покрутил в воздухе и бросил в Донец.

— Плывите! — позвал в третий раз человек с немецкого берега.

Василий снял брюки, гимнастерку, нижнюю рубашку. На себе оставил только трусики и пилотку с документами.

— Еще раз попрощаемся, Андрюша.

Поцеловались. Три раза перекрестившись, Василий бросился в воду. Два человека наблюдали за ним: Андрей с островка и солдат, говорящий по-русски, с немецкого берега. Теперь течение казалось еще более бурным. Василий старался преодолеть силу напора воды, но стихия была сильнее человека: его несло, как щепку. Все же он медленно приближался к берегу. Вот уже две трети водного пространства остались позади него. Немецкий солдат спешил вдоль берега к тому месту, куда несло Василия.

— Скоро, скоро, — трепетал Андрей. Радостью и тревогой было наполнено его сердце — радостью за плывущего и тревогой за себя: как то он преодолеет эту бурную воду? А Василий уже не плыл, а стоял возле самого берега, погруженный по грудь. Он оглянулся в сторону островка и что-то крикнул, но его слов не разобрал Андрей: очень далеко. Вот он вышел на берег. Подбежавший солдат подал ему руку и помог взобраться по крутому склону.

— Слава Богу — сказал Андрей.

Солнце поднималось. С берега доносились трели жаворонков. Стрельба русских прекратилась. Василий берегом вернулся назад. Остановился против островка.

— Не страшно, Андрюша, — ободрял он своего земляка, — если б даже захотел утонуть, не утонешь, вода несет тело, как резиновый пузырь. Снимай с себя все. Отдохнул? Прощайся с зайцами.

— Ну, косоглазые, до свиданья что-ли?... Желаю вам не попадаться под выстрелы. Пожелайте и мне удачной пе-

реправы, — помахал Андрей рукою недоумевающим зайцам.

Мелькнула какая-то красная искра. Вот еще. Андрей пригляделся: к островку летела красная бабочка. — Хорошая примета, — подумал он. Раздевшись, одежду положил вместе с Васильевой: «Зайцам на подстилку».

— Господи благослови, спаси и помилуй.

Сначала в воде было легко. Мысль, что сегодня он может увидеть жену и мать, вливала силы во все тело. Но вот его принесло в такое место, где был водоворот. Закрутило и его. Стало тянуть на дно.

— Вася!

Василий бежал на выручку земляка. Андрею удалось выбраться из опасного места, но это унесло много сил. Стали одолевать сомнения: доплыву ли? Уже неподалеку от берега почувствовал, как сводит судорогой левую ногу.

— Тону, Вася, помоги!

Василий бросился в воду.

— На земле не тонут! — крикнул он, хватая Андрея за волосы.

Когда вышли на берег, Андрей тяжело дышал, был бледный, казался истощенным, как после долгой болезни, качался.

— Вася, прости меня: я сомневался в тебе, а ты дважды спас меня от гибели ... Спасибо, друг.

— Значит, живем? — радостно крикнул Василий.

— Живем, — со счастливым вздохом ответил Андрей.

Крепко обнялись.

— Слава Тебе, Господи! — сказал Василий, глядя на небо. Поднял глаза к небу и Андрей. Восторг затопил его душу.

— Господи, вот мы и здесь ... Даже не верится ... Спасибо Тебе, Господи, за все милости. Христос Воскрес, Вася.

— Воистину Воскрес, Андрюша.

— Какие вы, ребята, хорошие: в Бога верите, а нам говорили, что все вы безбожники, — сказал немецкий солдат и повел перебежчиков узкой тропинкой в штаб, чтоб их там одели.

Солнце поднималось все выше.

Январь, 1954 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Радость 5
Божья красота 9
Закон сердца 21
Козявка 26
Отец 30
Две силы 40
Кто остался 42
Сказка 45
Страшный экзамен 53
Иван Месяцев 61
Блаженство 74
Ландыши 80
Пост у колодца 89
Новые крыши 93
Последний рубль 97
Золотая душа 102
Марусин столб 105
Ночной туман 111
Толкователь сновидений 114
Чтобы я сделал 117
Тоска по родине 121
Овсяный кисель 128
Братец 132
Новые лапти 135
В некотором царстве 140
Штаны с цветочками 144
Мировая закуска 147
Жажда 151
Жизнь Татьяны 154
Любовь святая 165
Не виноват 177
Первая жертва 187
Солнце поднималось 197

ЦЕНА
ДВА ДОЛЛАРА

Р. БЕРЕЗОВ • РУССКОЕ СЕРДЦЕ

РУССКОЕ СЕРДЦЕ

РУССКОЕ СЕРДЦЕ